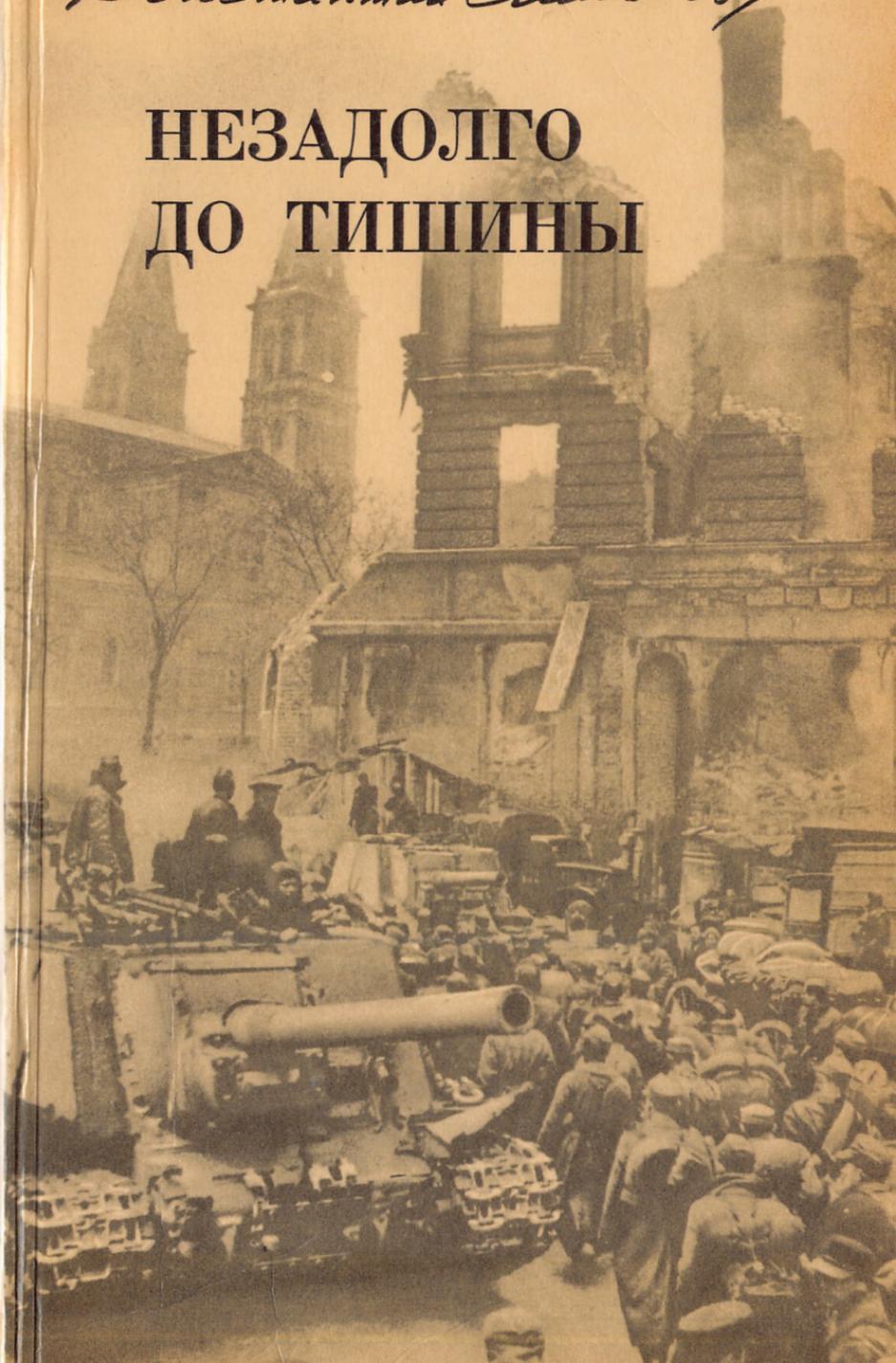


КОНСТАНТИН СИМОНОВ • НЕЗАДОЛГО ДО ТИШИНЫ

Константин Симонов

НЕЗАДОЛГО ДО ТИШИНЫ



Константин Симонов

НЕЗАДОЛГО ДО ТИШИНЫ

ЗАПИСКИ 1945 ГОДА
МАРТ — АПРЕЛЬ — МАЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА—1974

P2
C37

ВСТУПЛЕНИЕ

Перед той фронтовой поездкой, о которой пойдет речь в этой книге, я почти два месяца сидел в Москве, как говорят о себе газетчики, отписываясь за предыдущую командировку.

Она оказалась длинной — от Румынии до Италии. И я в ноябре 1944 года, прямо с дороги явившись в «Красную звезду», стал докладывать заместителю редактора Александру Яковлевичу Карпову о том, где был и что делал. После переданного в редакцию довольно сложным путем интервью с маршалом Тито я, сначала находясь у югославских партизан, не имел никакой возможности сообщать в редакцию о своем местопребывании. А потом почти две недели и не стремился сообщать. Полет с нашими летчиками через линию фронта из Югославии в Италию не был согласован с редакцией: я предпринял это на свой страх и риск, не имея заграничного паспорта, с удостоверением «Красной звезды» в кармане и с надеждой, что все как-нибудь образуется. Слетал я туда и обратно и снова оказался в Югославии.

Мой рассказ о полете в Италию Карпов выслушал с удивлением и впервые в жизни наорал на меня, имея к тому все основания.

— Мы его, понимаешь, две недели искали, рассылали по военному проводу запросы, а он был в Италии! Да кто тебе разрешил? Ты хоть там на месте у кого-нибудь «добро» получил?

Пришлось сказать правду: «добро» ни у кого не получал, просто сговорился с летчиками и слетал.

— Будет тебе теперь на орехи! Так достанется, что света не взвидишь! Да ты хоть понимаешь, что наделал? — кипятился Карпов.

Я молчал. Понимал, что выволочка справедливая, но что сделано, то сделано.

Замолчал и Карпов. Долго ходил по кабинету и думал. Потом остановился передо мной.

— Сколько тебе нужно времени написать о том, что видел в Италии? Четырех часов хватит?

Я сказал, что хватит.

— Бери машинистку, запирайся и диктуй, не уходя из редакции.

Я заперся с машинисткой и, надиктовав за четыре часа не больно-то складный очерк «По дорогам Италии», принес его Карпову.

Карпов прочел, отправил в набор с пометкой «срочно». И только после этого впервые усмехнулся.

— Вот, отправил в набор на свою голову. Пусть все увидят, что эта твоя Италия уже лежит у нас в набранном виде, прежде чем ты растреплешься о своей авантюре и с тебя начнут требовать устных и письменных объяснений, как и почему. Раз собираемся печатать в газете, авось никому не придет в голову, что такая поездка могла быть ни с кем не согласованной.

Надежда оправдалась. Очерк появился в газете. Правда, не сразу; но объяснений — как и почему я оказался в Италии, — ни устных, ни письменных, с меня так никто и не спросил. Спасибо покойному Александру Яковлевичу и за его газетную хватку, и за его товарищескую выручку! Задним числом хорошо понимаю, что, публикуя этот очерк, он рисковал больше, чем я.

Вслед за итальянским очерком были опубликованы с продолжениями мои записки о пребывании у партизан Южной Сербии, а потом «Красная звезда» и «Правда» напечатали несколько моих югославских рассказов. К концу января все, вместе взятое, сложилось в книгу «Югославская тетрадь».

Еще когда я ее заканчивал, у меня возникла идея написать следующую серию очерков и рассказов об уже начавшемся к тому времени освобождении Чехословакии. Редакция одобрила эту идею, и я уехал снова от «Красной звезды» в командировку на Четвертый Украинский фронт.

В ту пору Четвертым Украинским фронтом командовал генерал армии Иван Ефимович Петров, герой Одесской и Севастопольской обороны, с которым я впервые встретился еще в начале войны в осажденной Одессе, когда он командовал там 25-й Чапаевской дивизией. За этой первой последовали другие, сдружившие нас в годы войны встречи. Изредка, пользуясь оказиями, мы переписывались, и как раз в конце работы над своей югославской книжкой я получил коротенькое письмо от Ивана Ефимовича, где было несколько добрых слов о моих уже напечатанных к тому времени в «Красной звезде» югославских записках и предложение, если будет возможность, приехать на Четвертый Украинский. «Думаю, вам, как писателю, у нас будет тоже интересно. Если приедете, не расклетесь!»

Письмо Петрова подтолкнуло меня именно на эту, а не на другую редакционную командировку. И, скажу сразу, как писатель, я не раскаялся в своем решении, хотя, как военный корреспондент, поехав на другие, главные и более успешно действовавшие в тот период фронты, я увидел бы куда больший размах событий и, наверно, больше бы сделал для своей газеты.

Конечно, не будь я военным корреспондентом «Красной звезды», я не стал бы и военным писателем. Как писатель, я на всю жизнь остался благодарным и своей редакции, и своим товарищам по работе. И все-таки на всю войну, до конца, корреспондентского пороха у меня не хватило.

В сущности последними, чисто газетными оперативными материалами, которые я напечатал, были мои репортажи 1944 года об осаде Тарнополя, о прорыве линии Маннергейма, о лагере уничтожения в Майданеке и о нашем наступлении от Ясс до Бухареста.

Писатель к концу войны начал подавлять во мне журналиста: я все меньше писал в газету корреспондентский материал, а все больше полуочерков, полурассказов; все чаще я рассматривал свои записки в блокнотах не как материал для завтрашней корреспонденции, а как заготовки для чего-то, что напишу когда-нибудь потом. Внутри меня, соседствуя и все чаще противореча друг другу, боролись два видения войны — условно говоря, корреспондентское и писательское. И последнее к концу войны брало верх, порой в ущерб моим прямым корреспондентским обязанностям. Все чаще хотелось иметь время подумать над тем, что видел. Превращение увиденного и записанного в очередную корреспонденцию, которую надо срочно, тут же написать и срочно, любыми способами доставить в редакцию, давалось все труднее...

Тогда я старался не признаваться в этом даже себе. Но теперь мне ясно, что состояние духа, в котором я оказался на распутье журналистских и писательских дорог, очень многое объясняет в моих записках того времени.

Передо мной лежат блокнот с надписью: «Черновые записки 1945 года»; блокнот с надписью: «Партизаны — 1945-й»; блокнот с надписью: «Освенцим» и пачка сколотых листков с пометкой: «Сорок пятый, Закарпатье».

Может быть, были и другие блокноты? Помнится, были. Но сохранились только эти. И это все, что осталось у меня от первых полутора месяцев поездки на Четвертый Украинский фронт, с конца января до десятого марта.

Смотрю на эти листки блокнотов, в которых тогда мне было все ясно, а сейчас многое неясно, и понимаю, что не имею права вводить в заблуждение читателя. Воспоминания, которые возникают у меня сейчас, когда я заново разбираю все это строчка за строчкой, слишком приблизительны, слишком много времени прошло с тех пор! И я могу сделать только одно — попробовать очень коротко восстановить, чем же я занимался тогда и что видел.

Приехав в Новы-Тарг, где стоял штаб Четвертого Украинского фронта, я вскоре перебрался в 38-ю армию, которая вела в это время бои в Южной Польше под Бяла-Бельской. Был в частях армии, видел эти бои, но подробностей ни блокноты, ни память не сохранили.

После этого я поехал в село Кремпахи, где размещался тогда штаб партизанского движения Четвертого Украинского фронта, и около двух недель записывал там рассказы участников Словацкого восстания; они легли в основу моих очерков, напечатанных в «Красной звезде» и объединенных потом в книгу «Письма из Чехословакии».

В блокнотах осталось несколько отрывочных, для памяти записей о наших ребятах — парашютистах, пришедших на помощь словакам. Наверно, я собирался тогда написать и о них, но почему-то не написал, а жаль! Среди записей есть одна, очень коротенькая, но много говорящая о душевном состоянии этих людей, только что вернувшихся с задания, во время которого они бесчисленно рисковали жизнью:

«Я о себе уже четыре приказа на ордена знаю! Вот бы их получить. А там можно и опять выбрасываться, хоть на крыши в Берлине... Что же нам еще делать, надо снова прыгать... А потом что делать? Ну, а потом в Китае на год работы хватит. А потом — неизвестно...»

Тогда, в сорок пятом году, я, конечно, знал, а сейчас не помню, с чьих слов сделана запись. Но в ней чувствуются дух времени, готовность солдат революции до конца выполнить свой интернациональный долг всюду, где это от них потребуется...

После Кремпахов была поездка в Закарпатскую Украину. Поехать туда мне особенно настоятельно советовал член Военного Совета Четвертого Украинского фронта Л. З. Мехлис. Встречи с крестьянами, с учителями, с православными священниками, подвергавшимися преследованиям во время оккупации. Разговоры о будущем присоединении Закарпатья к Советскому Союзу... Ездил по Закарпатья, потому что хотел написать обо всем этом, но в блокнотах остались лишь короткие записи с пометками: «важно», «не забыть»...

После Закарпатья был в Освенциме. В этом блокноте всего несколько страниц, которые и сейчас, спустя столько лет, страшно перечитывать...

Словом, не считая материалов, лежавших в основу моих газетных очерков, в блокнотах сохранилось очень немногое. Но кроме них передо мной лежит еще одна толстая папка, триста скрепленных дыроколом листов со старой машинописью,— подробно передиктованные тогда же, в сорок пятом году, там, на Четвертом Украинском фронте, записные книжки за три недели: с десятого марта до первых чисел апреля. Они-то и составят почти всю эту книгу, за исключением ее последней — тринадцатой — главы, в которую вошли мои дневниковые записи более позднего времени, связанные с падением Берлина и капитуляцией в Карлсхорсте.

О чем идет речь в записных книжках, составляющих первые двенадцать глав книги? Главным образом о самом существенном в масштабах Четвертого Украинского фронта событии тех дней — о первых двух этапах наступления на Моравску Ораву. Но не только об этом. За эти три недели я несколько раз ездил в уже освобожденную к тому времени Силезию, и в записных книжках довольно много места занимают мои разговоры с немцами. Я в меру своих сил пытался докопаться до сути, пробовал понять, что же такое та гитлеровская Германия, солдат которой я видел под Москвой и в Сталинграде и которая теперь сама стояла на грани гибели.

Несколько слов о той обстановке, которая сложилась на Четвертом Украинском фронте в первых числах марта, накануне его наступления на Моравску Ораву.

На севере сосед справа — Первый Украинский фронт — во время предыдущих боев, захватив Силез-

ский бассейн, далеко продвинулся вперед, и его левофланговая 60-я армия генерала Курочкина, развернувшись лицом к югу, балконом, как выражаются военные, нависла над немецкими частями, стоявшими против Четвертого Украинского фронта, лицом на восток.

На юге, на стыке с левым соседом — Вторым Украинским фронтом, — действовала входившая в Четвертый Украинский фронт 18-я армия генерала Гастиловича; вместе с Чехословацким корпусом генерала Свободы она вела бои с немцами в горных районах Словакии.

В центре, перед главными силами фронта — 1-й Гвардейской армией генерала Гречко и 38-й армией генерала Москаленко, — лежал укрепленный район, прикрывавший Моравску Остраву — город и крупнейший промышленный каменноугольный район Чехословакии, один из последних, еще сохранившихся в руках у немцев. Взятие Моравской Остравы открывало бы нам ворота в глубь Моравии и Чехии, и притом с кратчайшего направления.

На первом этапе наступления главный удар предстояло наносить 38-й армии. Мне этого тогда, разумеется, не сказали, но я понял это и без слов, когда Иван Ефимович Петров, к которому я явился в первых числах марта, посоветовал мне, не откладывая в долгий ящик, ехать в 38-ю.

В этой армии мне предстояла встреча с людьми, уже знакомыми по моей работе военного корреспондента.

Командарма Кирилла Семеновича Москаленко я знал еще по осени сорок второго года, когда его войска вели севернее Сталинграда кровопролитнейшие бои, дорогой ценой оттягивая на себя силы немцев в самый критический для города момент. После этого, весной сорок четвертого, я был у него в армии в предгорьях Карпат, когда шли бои в районе Городенки. И в третий раз недавно, уже здесь, под Бяла-Бельской. В эти последние две поездки я встречался и с членом Военного Совета армии Алексеем Алексеевичем Епишевым. Остается добавить, что начальником политотдела 38-й был мой давний начальник, еще со времен Халхин-Гола, Давид Иосифович Ортенберг. Перестав быть редактором «Красной звезды», он сразу после этого уехал на фронт политработником и уже второй год служил в 38-й.

Вот, пожалуй, и все, о чем надо сказать для начала, прежде чем перейти к тексту своих записных книжек. В них не только порой более подробные, а порой мимолетные, не претендующие на полноту изображения зарисовки поглощенных своим делом людей войны, не только факты и наблюдения, но и мои размышления, сомнения, споры с самим собой, первые, подчас неудачные попытки ответить на вопросы, возникавшие в голове к концу войны, первые, иногда скороспелые выводы.

Хочу подчеркнуть, что все это не мемуары профессионального военного и не труд историка, а всего-навсего записки еще не дожившего до тридцати лет человека, видевшего войну глазами начинающего писателя.

Так же, как и при публикации других своих записей военного времени, я не хочу казаться читателю умней и проницательней, чем был тогда. Ограничиваюсь необходимой правкой, делающей записи более удобочитаемыми, сокращением некоторых связанных с корреспондентским бытом длинных и необходимых, главным образом по личным причинам, купюрами.

А в тех случаях, когда я теперь, через двадцать восемь лет, в чем-то расхожусь с тогдашними своими мыслями или хочу их пояснить и дополнить, я между главами комментирую их так, чтобы у читателя не осталось сомнений, где мои мысли сорок пятого года, а где нынешние.

Записная книжка за 10.3.45

Поднялись в шесть утра, еще в полной темноте. Начало артиллерийской подготовки было назначено на семь сорок пять. Это стало известно только вчера ночью. Но ощущение предстоящего наступления было в воздухе еще позавчера, когда мы ехали из Новы-Тарга сюда, в Пщину. Оно чувствовалось во всем — и в чудовищном ночном движении по дорогам, и в огромных количествах ящиков со снарядами, выложенных на грунт в лесах по сторонам от дороги.

Вчера днем я пришел к Москаленко с надеждой хотя бы примерно узнать, что предстоит, каков общий замысел операции. Хотелось побольше знать заранее, чтобы впоследствии правильнее понимать все происходящее. Но, к моему огорчению, вместо этого Москаленко целый час очень мило говорил со мной о литературе, сперва о Некрасове и Кольцове, потом о Новикове-Прибое и о «Порт-Артуре» Степанова. Обо всем этом я с удовольствием бы поговорил с ним в другой раз, но вчера меня интересовала предстоящая операция, и как раз о ней и не было сказано ни единого слова.

После того как мы около часа проговорили о литературе, к Москаленко в дверь заглянул сначала один, потом другой человек, и я, наконец сообразив, что задерживаю его своим присутствием, откланялся и ушел, попросив разрешения быть завтра вместе с ним на его наблюдательном пункте.

Сегодня утром, когда я ехал туда, у меня было только общее представление о том, что удар будет наноситься в направлении Моравской Остравы и что при успешном развитии наступления в прорыв собираются вводить мехкорпус, стало быть, оно рассчитано на большую глубину. Ничего сверх этого я не знал.

Рассвета еще не чувствовалось, стоял ночной туман. Весь горизонт был затянут снежной пеленой, потихоньку сыпал мелкий снег. Все это мне очень не нравилось, оставалось надеяться на то, что попозже погода разгуляется.

Мы трое, Альперт¹, Коротеев² и я, поехали на своем «виллисе» вслед за несколькими машинами командующего армией. Но, когда по расчету времени уже подъезжали к передовой, шедшая перед нами машина вдруг остановилась. Мы сначала подумали, что остановилась вся колонна, и терпеливо ждали, но потом выяснилось, что это просто-напросто сломался «виллис», который шел перед нами. Объехав его и потеряв несколько минут, мы попали в только что тронувшуюся с места колонну танков и, осторожно обгоняя ее, изрядно отстали. Хотя на дороге не было ни пробок, ни встречного движения.

На этой и на других дорогах, подходивших к участку наступления, на каждую машину были выданы пропуска, по которым можно было двигаться только в одну сторону. Справа у обочины стояли еще не тронувшиеся с места длинные колонны мехкорпуса. Танки, бронетранспортеры со счетверенными пулеметами, броневики, машины с мотопехотой.

Сначала мы ехали правильно, но потом немножко промахнулись — какой-то офицер в полушубке на развилке у объезда неправильно объяснил нам дорогу. Мы свернули куда-то не туда, попали на пустое снежное поле, развернулись на нем и, объехав какие-то непонятные загородки, все-таки наконец выехали обратно на шоссе. Потом уже, часа через два, когда мы были на наблюдательном пункте, ко мне подошел Вася Коротеев и, смеясь, стал трясти мне руку.

— Поздравляю!

Я спросил, по какому поводу поздравление. И узнал от него, что загородки, о назначении которых мы не догадались, окаймляли минное поле, через которое мы — дуракам счастье! — благополучно проехали.

Наблюдательный пункт армии размещался на фольварке. Это был большой каменный четырехугольник, состоявший из нескольких, пристроенных друг к другу домов и сараев, а впереди этого четырехугольника, метрах в пятидесяти, стоял еще один двухэтажный дом с огромным чердаком, наверно, служившим для сушки сена. На этом чердаке было много закоулков и слуховых окон, и во всех этих за-

¹ М. В. Альперт — фотокорреспондент ТАСС.

² В. И. Коротеев — корреспондент «Красной звезды» на Четвертом Украинском фронте.

коулках стояли стереотрубы и сидели наблюдатели, главным образом артиллерийские.

Метель все усиливалась. На горизонте не было видно ничего, кроме сплошной серо-белой пелены. Артподготовка началась точно в семь сорок пять. Стоявшие недалеко от фольварка «катюши» перекрывали своими залпами все остальное, но даже и без этих залпов рев артиллерии был все равно оглушительный. Все вокруг гремело и тряслось, но сквозь метель были видны только вспышки выстрелов ближайших батарей.

В такую метель ни о каком наблюдении за целями говорить не приходилось. Огонь велся вслепую, по заранее намеченным координатам. Даже залпы других дивизионов «катюш», стоявших не у фольварка, а подальше, только громыкали, а полет их снарядов был не виден за метелью, летевшей навстречу почти параллельно земле.

Приехавший вместе с Мехлисом на наблюдательный пункт Петров, забравшись наверх, на чердак, приказал выломать кусок крыши и некоторое время наблюдал, высунувшись наружу. Но, как ни смотри, все равно ничего не было видно, и он, махнув рукой, сказал:

— Пошли на воздух!

Я спустился с чердака вместе с ними, с Мехлисом и Альпертом, который тоже лазил туда с нами — снимать, и мы несколько минут простояли внизу, тоже ничего не видя. Потом Петров ушел к Москаленко, а мы с Мехлисом еще полчаса ходили молча взад и вперед вдоль какого-то длинного каменного сарая.

Артподготовка кончилась. Теперь слышались только все более отдаленный огонь артиллерийского сопровождения и изредка немецкие взрывы, иногда довольно близкие. Снаряды падали где-то справа, впереди фольварка.

Что немцы огрызались, было неприятно. Значит, не вся их артиллерия на переднем крае была подавлена при артподготовке. Намерзшись, мы пошли внутрь фольварка, к Москаленко.

В большом затоптанном пустом зале толклись адъютанты и водители. В зал выходило несколько дверей. В одной комнате сидели разведчики, в другой офицеры оперативного отдела, в третьей, жарко натопленной, сидели Москаленко с Епишевым и Петровым.

Когда мы вошли туда, Петров и Москаленко обсуждали погоду. Петров говорил, что, пожалуй, на первое время такая погода — это даже неплохо для пехоты! Что если пехота дружно пойдет и сразу провет оборону, то такая погода даже хороша — будет меньше потерь. Но если метель затянется надолго, то погода обернется потом против нас.

Москаленко беспрерывно вызывал к телефону то одного, то другого из своих подчиненных. Никаких донесений с поля боя о продвижении пехоты, кроме первого, что она уже пошла, естественно, еще не могло быть. Слишком рано! Поэтому главное внимание было обращено на артиллерию.

Москаленко требовал от своего командующего артиллерией:

— Гоните своих вперед. Чем хотите, но гоните. Гоните, гоните их вслед за пехотой, чтобы никакой неожиданности для пехоты потом не было. Чтобы она все время опиралась на свою артиллерию. Терроризируйте противника в глубине, вглубь, вглубь, в глубине его бейте! Бейте ему связь, бейте по развилкам дорог. Терроризируйте его, как он терроризировал нас в сорок первом году: он еще сам далеко, а снаряды уже рвутся где-то в нашем расположении, и нам уже не по себе!

На этом этапе боя командарма, видимо, больше всего волновал вопрос, чтобы его артиллерия, окончив артподготовку, не почилла на лаврах, чтобы та ее часть, которой назначено было двигаться, немедля двигалась бы вперед. Сейчас же снималась с позиций и следовала за наступающей пехотой.

Хотя в комнате было изрядно натоплено, Москаленко мерз. Сидел у телефона в бекеше внакидку и в заправленных в бурки ватных стеганых штанах.

Я спросил Мехлиса, где находится сейчас Чехословацкая танковая бригада. Он сказал, что она в армии у Гречко, и добавил любопытную подробность: когда Гречко показывал командиру Чехословацкой бригады по карте участок, на котором ему предстояло наступать, у того загорелись глаза и он вдруг сказал, что наизусть знает все эти места с детства. Сам родом отсюда, и в детстве пешком обошел их!

Я пошел к окну, чтоб было посветлее, и, пристроившись на лавке, положив к себе на колени блокнот, старался записывать все самое примечательное в телефонных переговорах Москаленко.

— Я сейчас вас не о противнике спрашиваю! При двухстах орудиях на километр фронта о противнике не спрашивают и не докладывают. Вы доложите, куда, до какого рубежа дошли ваши части.

И после этого с некоторым поддразниванием:

— Вот вы отстали, а Бондарев уже прошел первую линию!

— У вас есть связь с частями? Нет, вы мне скажите откровенно, есть или нет. Ну вот, я же чувствую по вашему докладу, что у вас нет связи с частями. Ах, вон оно что. Гоните всех вперед? Это верно, гнать всех вперед нужно, но и связи не теряйте. Офицеров своих вперед пошлите, адъютанта своего пошлите, оставьте при себе одного-двух человек, остальных всех пошлите вперед, чтобы у вас была обеспечена связь.

— Что? Ждете, когда вам дадут заявки командиры батальонов? Заявки — это до войны на учениях было, а у вас сейчас пехота идет, а артиллеристы отстрелялись — пьют и закусуывают. Заставьте их работать, и немедленно!

— Доложите, какие у вас сведения с переднего края. Что?! От раненых? Это же позор нам с вами — получать сведения от раненых! Доложите мне точно, где сейчас ваши части.

— Ах, вот что, в движении... А Красная Армия вообще вся в движении после Сталинграда! Извольте узнать и через двадцать минут доложить мне, где ваши части.

— Да что вы там с зенитками, с финтифлюшками возитесь! Тяжелую артиллерию пускайте в дело. Эрсами их бейте!

В этот момент Петров, почти все время молчавший, вдруг подает реплику, постукивая пальцем по карте в том месте, по которому, по его мнению, надо ударить артиллерией.

— Там у них на развилке дорог, наверно, как раз сейчас бардак! И обозные, и все прочее. Немцам некуда больше сейчас сунуться, кроме этой развилки.

Еще когда мы были на наблюдательном пункте, Петров сказал, что вечером вымылся в бане, надел чистое белье и долго ночью сидел один и пил чай. Мехлис в ответ на это пошутил, что Петров все это делал в соответствии с русскими солдатскими обычаями.

Немного погодя Петров сказал, что ночью и под утро три раза выходил и смотрел погоду. Я подумал,

что он, наверно, всю ночь перед наступлением совсем не ложился спать.

Москаленко приказывает кому-то по телефону:

— Поезжайте к командиру 127-го полка. Он воюет по-допотопному, несовременно... Помогите ему наладить связь и организовать огонь сверху, не ожидая заявок от батальонов.

Все новые и новые звонки. На этот раз первый из звонков, кажется, начальнику штаба армии.

— Пошлите двух толковых офицеров толкать 52-й корпус, и пусть там не поддаются на уговоры командира и начальника штаба. Пусть будут тактично, но твердо настаивать на решительном движении. Пусть не вмешиваются в командование, но дадут понять, что при всяком уклонении и задержках будут непосредственно доносить сюда. Да пошлите подтвержде офицеров, чтобы не размякли и не стали докладывать заодно...

В комнату входит комендант штаба — высокий майор с опухшим лицом. Москаленко вдруг вскидывается на него:

— Отчего от вас пахнет?

— Сто грамм выпил.

— А почему выпили?

— Так ведь положено...

— Это солдату положено, а вам не положено. Наглец вы этакий! Вы еще свой хлеб не заработали, вам его еще до вечера надо заработать, а вы с утра водку пьете.

Комендант, оказывается, вызван затем, чтобы ехать вслед за войсками подобрать место для нового наблюдательного пункта. Он выходит исполнять приказание, и после его ухода Мехлис мельком говорит мне, что артиллеристам, например, вообще запрещено пить до вечера свою суточную норму. Как в сочельник не едят до вечерней звезды, так вот и они не пьют! Утром выдают ее по сто граммов только пехоте.

— Ну, что же, судя по некоторым признакам, дело идет благоприятно для нас, — говорит Москаленко после еще нескольких разговоров по телефону, после того, как ему доносят, что саперы начали расчищать от завалов и мин проходы для танков. Но благодушного настроения у Москаленко хватает ненадолго. При докладе по телефону достается командиру корпуса.

— Что это вы, Жуков, как мальчик, говорите: 15

«Первый фланг у меня еще не остановился»? А разве он должен у вас останавливаться? Ему надо сегодня еще двадцать четыре километра пропереть.

Петров вставляет сердито реплику:

— А уже полдня прошло! — и смотрит на часы.

Москаленко продолжает говорить по телефону и, очевидно, в ответ на объяснения командира корпуса добавляет наставительно, но уже мягче:

— Тогда учитесь правильно излагать свои мысли. Ни в коем случае не давать возможности залезать пехоте! Там, где не могут прямо перед собой подавить огонь, пусть разворачиваются в стороны. А вы вводите новые силы. Помните, что успех боя зависит сейчас от своевременного ввода в бой вторых эшелонов!

Уже минут десять, как Петров, взяв одну из телефонных трубок и приложив ее к уху, слушает молча, с сосредоточенным лицом и наконец, положив ее, говорит с раздражением:

— Ну, какая же... — Петров употребляет довольно крепкое выражение, — начальник отдела кадров БТМВ! Сейчас, во время боя, звонит начальнику штаба мехкорпуса, десять минут подряд звонит ему и требует шесть «студебеккеров», чтобы перевезти из Ужгорода какое-то там имущество его отдела. Это во время боя! Начальство все вперед уехало, так он до ВЧ добрался...

Сердито вздохнув, Петров вызывает к телефону начальника оперативного отдела штаба фронта и приказывает:

— Немедленно вызовите его к себе и посадите на трое суток под арест с отсидкой в комендантском управлении за то, что во время сражения отрывает от работы занятых делом людей! Он пусть трое суток посидит, подумает, а машин, которые требовал, не давать! Запрещаю...

Москаленко вдруг замечает через окно почему-то оказавшиеся во дворе фольварка пушки и вызывает к себе командира. Через минуту вбегает командир батареи, рапортует четко, но с несколько излишней громкостью.

— Почему вы здесь? — спрашивает Москаленко.

— Мы были здесь на огневых...

— Где на огневых?

— В двухстах пятидесяти метрах отсюда.

— А почему вы здесь?

— Мы сейчас переходим на новые позиции.

— Я спрашиваю, почему вы здесь?

— Мы... сейчас мы... уже идем. Остановились только на три минуты.

Москаленко говорит спокойно, не повышая голоса:

— Вам сейчас не на три минуты, а даже на одну минуту нельзя задерживаться, вас пехота ждет! Идите!

Он снова берется за телефон, слушает чей-то доклад и, оторвавшись от телефона, говорит:

— Просят немедленно прекратить огонь по Голосовицам. Говорят, что уже захватили их! — Потом добавляет с улыбкой: — Тут уж сведения точные, тут они быстро докладывают, когда знают, что по ним могут огонь открыть.

И снова говорит в телефонную трубку:

— Уточните продвижение своих частей, чтобы через каждые десять минут знать перемены в обстановке. И сами меняйте свое КП, проезжайте вперед, в Голосовицы, раз захватили их.

Иду в комнату, где сидят разведчики. Появилась первая ласточка, первый немец. Немец стоит посреди комнаты. Он в белых штанах поверх форменных, в шинели поверх белых штанов и в белой маскировочной куртке поверх шинели. Кроме того, на ногах у него галоши. Он находится на той грани испуга, когда начинает казаться, что этот человек совершенно спокоен.

Он две недели назад переведен из пекарни. Оказывается, что, по солдатским слухам, был перебежчик с русской стороны, командование ожидало, что русские начнут наступление, поэтому из их роты на переднем крае было оставлено только два отделения, остальные ушли назад. Он сам был в составе одного из двух этих отделений, залез во время артподготовки в подвал и был вытащен оттуда русскими солдатами.

Сам по себе пленный не представляет интереса, но сведения, полученные от этого бывшего пекаря, важные и невеселые.

Возвращаюсь от разведчиков.

Перед Москаленко стоит только что приехавший с передовой офицер связи. Присутствие многочисленного начальства взволновало его, и он заплетается и путается.

— Не мельтешитесь и не волнуйтесь,— спокойно говорит ему Москаленко.— Не путайте запад и восток. Докладывайте нормально.

После того как офицер заканчивает доклад, Петров обращается к нему:

— Вы на чем, майор, на «виллисе»?

— Да.

— Так вот, снова садитесь на свой «виллис» и поезжайте прямо по дороге до передних порядков пехоты. В общем, доезжайте, куда сумеете доехать. Не ищите по дороге никаких штабов, а просто догоните пехоту. Определите, где она сейчас. И немедленно возвращайтесь назад. Все дело в скорости вашего доклада!

Майор уходит.

По телефону докладывают, что танки уперлись в болота и сейчас им придется возвращаться на дорогу и разминировать проход прямо на дороге. Докладывают, что немцы подорвали мост, переброшенный через выемку железной дороги, и у нас там сейчас образовалась большая пробка — стоят и артиллерия и танки.

А пока все это докладывают одно за другим, невдалеке от нас, невидимые, где-то, должно быть за шкафом, медленно тикают часы-ходики, отсчитывая время.

Москаленко с усмешкой говорит по телефону:

— Вы докладывайте точнее. Проходят через рощу или только еще подходят к роще? А то мы как раз хотели вам помочь, дать по этой роще огонь двух полков эрэсов... Значит, действительно не подходят, а проходят через рощу? Ну, тогда хорошо.

Инженер докладывает, что материал для восстановления взорванного немцами моста уже подготовлен и его везут сейчас туда, к выемке.

— Володин, не будьте таким нерасторопным, как прошлый раз,— обращается Петров к инженеру.— Я вами в прошлый раз был крайне недоволен. Сегодняшний день я вас снова проверю, способны ли вы поддержать порядок на дорогах.

Москаленко приказывает по телефону, чтобы дивизион стодвадцатидвухмиллиметровых орудий ударил по Фриштадту.

— Бейте по центру. Ориентир — в самом центре — башня или колокольня. Выпустите сто — сто пятьдесят снарядов.

Он кладет трубку и заговаривает с Петровым о вводе мехкорпуса. Заговаривает уже не в первый раз, чувствуется, что ему хочется ввести. Петров уклоняется, замечает:

— Здесь-то все более или менее ясно, но нам надо еще выяснить положение у Боровецкого леса, как дела там. Тогда можно будет пустить и мехкорпус.

Новый телефонный звонок.

— Это уже старо, — говорит Москаленко. — Не может быть, чтобы у вас все осталось, как было. Не верю, что пехота залегла, вы просто не имеете с ней связи.

— Сообщайте, немедленно сообщайте, где у вас кто находится. И за отставшие от событий, и за преждевременно радужные сведения мы будем платить жизнями. Вы должны точно знать, где сопротивление, чтобы заранее подавить его.

Телефонный разговор с командиром дивизии Пархоменко:

— Почему вы развернули два полка, когда вам приказано было развернуть всего один полк, а второй полк, не развертываясь, должен был пройти через прорванный участок? Зачем прорывать два раза в двух разных местах? Смотрите, какая вам дана сила и как неверно вы ее используете!

Во всех своих разговорах по телефону Москаленко ни разу не матерится, почти не кричит, а когда ругает, так, главным образом, упрекает и взывает к порядочности.

— Да вы просто непорядочный человек, — негодует он, — вы просто мне лжете.

Петров почти все время сидит молча, изредка связывается по телефону с армией Гречко, где, кажется, примерно такая же картина наступления, как и здесь. В происходящее здесь, у Москаленко, он почти не вмешивается, только иногда, время от времени вставляет несколько слов по ходу телефонных разговоров командарма с его подчиненными.

У меня такое ощущение, что стиль работы Петрова — предоставление возможно большей инициативы командармам. Он вносит поправки деликатно, видимо, никак не желая давить своим присутствием на действия Москаленко.

— Надо вводить мехкорпус, а то опаздываем, — говорит Москаленко.

Петров на этот раз молчит, ничего не отвечает, 19

как будто этих слов не было. Он, видимо, не согласен с предложением Москаленко, но внешне ничем это не выражает, просто молчит. И Москаленко уже не возвращается к сказанному.

Ездивший снимать танки Альперт рассказывает, как наблюдал там, впереди, следующую психологически интересную картину.

Стрелковый батальон гуськом, по-одному шел по узкой снежной тропинке на исходные позиции перед атакой. Один из солдат остановился в какой-то низинке и стал возиться со своим вещевым мешком. Это был уже немолодой человек, лет сорока пяти. Он долго возился с мешком, все время оглядываясь на проходивших мимо. Не заметив его или не обратив внимания, мимо прошел командир батальона, опираясь на палку. Отставший солдат продолжал стоять со своим мешком. Прошло еще десять, двадцать, сто человек, а он все стоял в этой низинке в нерешительности — остаться или идти? И вот, уже пропустив самого последнего, когда тот отошел от него шагов на пятьдесят, он вдруг решительно вскинул мешок на плечи и заторопился, побежал вслед за ушедшими вперед.

Тем временем выясняется, что впереди натолкнулись на непреодоленную немецкую оборону и залегли. До сих пор, по крайней мере, мне так казалось, все шло более или менее по плану. Сейчас наступил момент, когда в план начинают вносить первые коррективы, сделанные под давлением обстоятельств.

Москаленко вновь говорит с тем же командиром дивизии, с Пархоменко:

— Чего вы в лоб лезете? Вам же было приказано идти в затылок за Матусевичем и, пройдя, разворачиваться резко на юг. На вас же сейчас десять минут подряд триста стволов работало! Скажите, откуда вы в прошлый раз говорили со мной? Так. А сейчас? Так. Хорошо! Тогда что же вы волнуетесь? Ах, вам не видно! Так и противнику ведь тоже не видно. Пурга одна и та же. Одна на всех!

Через какое-то время еще один разговор с Пархоменко:

— Ну зачем же вы наступаете в лоб? Мы же на этом участке не делали прорыва, просто поддерживали вас сильным артналетом — вдруг получится, подавим! А раз не подавили, значит, надо маневрировать, обходить этот участок. Вам не видно? Чего же вам не

видно? Пехоты вам не видно? А ее вообще редко видно.

Сразу вслед за этим сердитый разговор с начальником штаба одного из корпусов:

— Кто залег? Где залег? Это вы, начальник штаба, залегли и не делаете того, что от вас требуется. Не хотите понять, что люди могут умереть из-за таких дураков, как мы с вами, если мы и дальше будем с вами так действовать. Они прибыли сражаться за родину, а умрут из-за дураков! Вы, Потапов, всегда преувеличиваете силы противника, а вот танкисты из головного батальона докладывают, что пехота идет мимо них. А вы считаете, что там еще нет пехоты?

Является новый офицер связи. Этот докладывает тихо, точно, аккуратно.

Выслушав его, Москаленко снова берет трубку.

— Так и доложите, что не знаете, и попросите у меня срок, за который вы все узнаете, а не лгите! Я же вас не буду ругать, раз вы действительно не знаете. Но вы должны узнать и доложить, как оно есть на самом деле, и помнить, что за ложь мы всегда дорого расплачиваемся!

Петров вставляет реплику:

— Видимо, пехота продолжает непрерывно идти, а штабы, как обычно, путают и вводят нас в заблуждение.

Приходит донесение — с одного из направлений докладывают, что дороги так сильно заметены, что колесные машины не идут. Петров вновь посылает офицера связи искать не командиров, не штаб, а прямо вперед, по дороге, так далеко, насколько сможет, узнать реальную обстановку. Видимо, это заведено у него — посылать офицеров прямо вперед, докуда доберутся, чтобы увидели своими глазами, конкретно, как дела, нигде не задерживаясь на пути и минуя штабы.

Тем временем Москаленко снова раз за разом упорно в каждом телефонном разговоре нажимает на своих подчиненных, требуя от них правдивости докладов.

Снова телефонный разговор о пехоте:

— Нельзя идти вперед на трупах, надо идти вперед на уме и на огне. Прикройте одним батальоном, а остальными силами обходите.

Эти несколько разговоров Москаленко подряд с 21

одним и тем же командиром дивизии кажутся мне очень характерными для нынешнего периода войны. Когда я был в сорок втором году под Сталинградом во время сентябрьского наступления и у Москаленко, и на командных пунктах у других командиров, не помню таких разговоров с нажимом на огонь, на технику.

Сейчас считают, что пехота может по-настоящему успешно продвинуться через укрепленную полосу только тогда, когда противник в основном подавлен артиллерийским огнем. А в те времена зачастую и подавить было нечем, немного постреляв, шли напролом. Теперь для всех разговоров характерна эта забота о пехоте. О том, чтобы любыми средствами подавить огневую мощь противника.

Москаленко за это утро несколько раз повторял по телефону, что от пехоты нельзя требовать, чтобы она шла, не используя перед этим до конца все огневые средства для подавления противника.

Новый офицер связи. На нем шинель до такой степени мокрая, что, видимо, метель постепенно превращается в дождь. Москаленко снова и снова, возвращаясь все к той же теме, звонит по телефонам, напирает на то, чтобы шли вперед, не правее или левее участка прорыва, а входили бы именно в пробитые ворота и лишь потом загибали, сминая оборону противника.

— А слева у вас никакого успеха и не может быть, — говорит он в телефон, — потому что слева вы и не прорывали. Надо огибать и выходить им в тыл...

Звуки нашего огня уходят все дальше. Лишь изредка слышатся разрывы немецких снарядов. По телефону доносят, что в Малых Голосовицах подорвалось четыре наших танка.

Жуткая мокрая пурга все усиливается и усиливается.

Петров впервые за все время говорит с нескрываемым раздражением, до этого он выглядел спокойным.

— Прохвосты прогнозчики!

Звонок от Гречко. Гречко докладывает Петрову, что его части вышли на Вислу.

У Москаленко с левого фланга докладывают, что немцы мешают продвижению.

— Где они зацепились?

— Вдоль шоссе.

— Надо их раздолбить артиллерией там, на шоссе, к чертовой матери, а то они наделают вам еще больше неприятностей.

Петров приказывает позвонить в корпус, в который он намерен выехать.

— Пусть поставят на перекрестках дорог маяков.

Через полчаса, наскоро перекусив, уезжаем от Москаленко. На первом «виллисе» Петров, на втором Мехлис. Петров берет меня в свой «виллис». «Виллис» открытый, даже без тента. Я сижу сзади, между автоматчиком и постоянным спутником Петрова, толстым сорокалетним лейтенантом Кучеренко.

Через несколько километров мы наталкиваемся на первую пробку. Кучеренко и автоматчик соскакивают с машины и бегут растаскивать пробку. Она образовалась из-за того, что на дороге в два ряда остановились машины мехкорпуса. Все оставшееся пространство загромоздил пытавшийся их объехать понтонный батальон.

Петров сердится и приказывает позвать пононера. Но раньше него появляется начальник инженерного отдела армии. Выясняется, что понтоны двинуты не по его распоряжению, а по распоряжению начальника инженерной службы фронта.

Петров приказывает, чтобы тому от имени командующего фронтом объявили выговор. А когда появляется командир понтонного батальона и начинает доказывать, что он двинул свои понтоны по такому-то, полученному от такого-то, приказанию, Петров сдерживается, не срывает гнев на этом майоре, а лишь резко приказывает ему немедленно убрать к чертовой матери свои понтоны с дороги в ближайшую деревню.

Чувствую, как, несмотря на все свое раздражение, Петров все-таки стремится разобраться и не орать попусту на человека, который в данном случае не виноват. Положительное отличие от тех больших начальников, которые любят накричать, не разобравшись, на первого, попавшегося под руку.

Метель лепит навстречу, прямо в глаза. Она абсолютно мокрая, почти дождь. Дороги начинают раскисать буквально на глазах. Мы минуем еще одну пробку, наконец застреваем. На дороге в четыре ряда стоят танки, машины, повозки. Встречного движения нет, все это идет только в одну сторону, на запад, но все равно сплошь загромоздило всю дорогу.

Петров слезает с «виллиса», достает суковатую палку с загнутой ручкой и, опираясь на нее, идет по шоссе. Пробка такая, что кажется, она вовеки не сдвинется с места. Лица у всех мокрые, шинели промокли насквозь. Все мерзнут от этого пронизывающего до костей дождя со снегом.

И все-таки какой-то солдат, уставший до такой степени, что ему все равно, стоит среди всей этой суеты на дороге, прислонившись спиной к борту грузовика, и спит. Ревут и гудят машины, задевают плечами проходящие мимо люди, а он стоит и спит!

Проходим примерно с километр пешком в поисках командира корпуса. Приближаемся к железной дороге под аккомпанемент немецкого артиллерийского огня. Разрывы отсюда километрах в двух — двух с половиной, так что, видимо, наши на этом участке с утра продвинулись совсем мало. Линия немецкой обороны шла здесь вдоль железнодорожной насыпи.

На этом участке фронта двухколейная железная дорога проходит в огромной выемке, глубина которой местами двенадцать и даже пятнадцать метров. Через эту огромную выемку и был перекинут взорванный сейчас немцами мост.

Справа от дороги стоит подорвавшийся на немецком фугасе танк. Рядом с ним лейтенант в черном комбинезоне, с усталыми глазами. Петров подходит к нему.

— Товарищ командующий, — говорит лейтенант, — это мой танк.

— Ну!

— Я командир разведгруппы, вот взорвался мой танк не дойдя.

— Так на кого же вы обижаетесь?

— На саперов обижаюсь.

— Почему?

— Не разминировали как следует, вот машина и взорвалась. Только слегка пощупали в некоторых местах, а здесь фугас лежал. Вот и подорвались... Водитель у меня убит, ноги ему оторвало.

— А вы чего тут стоите? Раз вы командир разведгруппы, двигайтесь со своей разведгруппой в обход. Другие у вас машины какие?

— Есть еще бронетранспортеры.

— Ну вот, и двигайтесь на них. Сворачивайте с дороги, бронетранспортеры здесь должны пройти...

Кто-то вмешивается в разговор:

— Танки тоже здесь прошли, уже двенадцать танков прошло.

— Поезжайте, поезжайте вперед,— повторяет Петров.

— Товарищ командующий, надо акт составить.

— Какой там еще акт?

— Акт о том, что подорвался танк.

— Ничего, отправляйтесь! С актом успеется,— говорит Петров.

Вдоль дороги аллея, деревья огромные. Сейчас их пилят для того, чтобы сделать из них деревянные клетки и заложить ими железнодорожную выемку.

Петров спрашивает:

— Когда сделаете?

— За ночь.

— Когда точно?

— К пяти утра.

— Точно?

— Точно.

Останавливаемся у самой выемки. Я смотрю на эту гигантскую выемку глубиной в пятнадцать и шириной в тридцать — тридцать пять метров, с удивлением думаю: «Как же люди сделают все то, что они обещают сделать здесь, за одну почку?»

К Петрову подходят два полковника из мехкорпуса.

— Ну, а вы что? — говорит им Петров. — Ваши же танки стоят! Давайте сюда ваших людей, чтобы могли поскорее мост восстановить. А кто здесь есть из инженеров?

— Есть начальник инженерной службы.

— Вот его-то мне и нужно,— говорит Петров.

Подходит усатый полковник.

— Это по вашему приказанию пустили сюда понтоны?

— По моему.

— Вот странно,— говорит Петров. — Старый военный, а даете такие дурацкие распоряжения. Вы бы подумали раньше, чем приказывать. Вы думали или нет? Еще танки не прошли, артиллерия не прошла, а вы понтоны посылаете, загромождаете дорогу. Ну?

Полковник стоит весь красный и молчит.

— Надо думать,— говорит Петров. — Скорее стройте мост.— И после того как выругал полковника, на прощание все-таки подает ему руку.

Выясняется, что штаб корпуса мы проехали, он 25

находится в деревне в четырех километрах позади. А сам командир корпуса, бросив машину, пошел пешком через выемку вперед, в свои наступающие части.

— Ну, там мы его и вовсе не найдем,— говорит Петров.— Пойдем назад, в штаб корпуса.

Приказывает, чтобы дали двух красноармейцев сопровождать нас туда.

— Вот теперь все ясно,— говорит Петров.— Танки встали, и артиллерия встала из-за этого моста.

Он подзывает кого-то и отдает приказание, чтобы, не дожидаясь восстановления моста, артиллерия перекантовывалась на другую сторону; говорит, что танки там не пройдут, слишком тяжелы, а «студебекеры» с пушками на прицепе могут и благополучно пройти.

— Да, теперь все ясно,— повторяет Петров, шагая обратно по шоссе.— Танки встали, артиллерия встала и в массе своей, пока моста не восстановим, до утра не пройдут. И в этом одна из главных причин задержки наступления. А штабы нам морочат голову по телефону: «Продвинулись, продвинулись».

Мы доходим до своего «виллиса», разворачиваемся и через все еще не растащенную до конца пробку возвращаемся назад.

Навстречу, загромождая дорогу, идет артиллерия. На первом перекрестке Петров спрашивает:

— Где здесь офицер, регулирующий движение? Подбегает маленький полковник, рапортует.

— Почему пускаете по этой дороге артиллерию, когда дорога уже и так загромождена до отказа? — спрашивает Петров полковника.

Полковник в ответ докладывает, что это артиллерийский полк, идущий прямо на огневые позиции.

— Раз прямо на огневые, так пусть быстро сворачивает с этой дороги на другую, чтобы не стоял здесь до утра. А эту дорогу разгрузите от колесного транспорта, от повозок, от конной артиллерии. И всем, кто может пройти другими дорогами, без моста, не стоять здесь! Немедленно сворачивайте их с этой дороги, им тут делать нечего!

Когда-то в начале войны, когда предпринималась какая-нибудь наступательная операция, помню, как все, сверху донизу, выезжали вперед, в части.

Грешным делом, и сегодня сначала, когда мы поехали с Петровым, я подумал: неужели это просто ре-
цидив былой всеобщей привычки первых лет войны,

часто приводившей к потере управления войсками?

Но, когда мы побывали у этой железнодорожной выемки и отъехали, я подумал, что Петров, наверно, прав, что только одно штабное ощущение войны, ощущение сверху все-таки не дает истинного представления о всей картине операции.

По донесениям снизу, которые проходят через ряд инстанций, все происходящее приобретает некую внешнюю закономерность, обоснованность и гладкость. Подлинные причины той или иной неудачи или задержки обрастают разными, все более подробными объяснениями. А между тем на этом участке наступления была только одна причина задержки — не было моста через единственную на этом участке дорогу. Из-за этого получилась пробка; из-за этого артиллерия и танки не перебрались на ту сторону железнодорожной выемки; из-за этого сразу же после первого, второго километра продвижения пехота осталась без поддержки артиллерии непосредственного сопровождения. А в условиях чудовищно плохой видимости огонь с закрытых позиций не мог достаточно действенно и своевременно помочь дальнейшему продвижению войск. В результате продвижение сходило на нет, постепенно угасало.

А причина, повторяю, в данном случае была одна, вполне реальная — не было моста, и к постройке его своевременно и в должных масштабах не подготовились. Очевидно, не учли реальных размеров выемки. Для того чтобы исправить положение, теперь надо было в кратчайший срок построить мост. И то, что командующий фронтом увидел все это своими глазами, очень важно. Не только потому, что он узрел этот факт, узрел истину, но и потому, что собственное присутствие около этой выемки дало ему точное и ясное представление о том, что произошло. Это тоже важно! Потому что, когда начинаются неувязки и неудачи, чем их больше, тем туманнее становятся доклады о них. А собственное точное представление о происшедшем толкает на собственные, вполне определенные оценки и выводы.

Может быть, с военной точки зрения, это рассуждение вышло у меня наивным, но мне все-таки кажется, что в сути своей оно правильное. Сейчас мне думается, что совмещение хорошо спланированной штабной работы, хорошо налаженной связи с выездами, в том числе неожиданными, на фронт и личной 27

проверкой всего происходящего там, впереди, глазами самого высшего начальника, что это хорошо и необходимо. Ощущение воздуха боя — один из факторов, который входит и в оценку положения, и в принимаемое решение.

На фронте говорят: я вижу успех, мне доносят об успехе. Но говорят и по-другому: я чувствую успех, почувствовал успех. Именно, не наметился, а почувствовался!

Почувствовать можно только вблизи передовой, вблизи боя. И, быть может, в этом понятии «чувство успеха», в этом очень точном ощущении и даже предчувствии есть одно из отличительных свойств наших генералов, полководцев русского стиля ведения войны.

Само собой разумеется, говоря об этом, я нисколько не преуменьшаю значения таких факторов, как точность, планирование, и других, им подобных.

Но мне сейчас подумалось, что наши генералы, не сравнивая их с немецкими в других отношениях, в тяжелых испытаниях этой войны научились остро чувствовать дыхание боя, более остро, чем немцы. Конечно, это всего лишь предположительное суждение, потому что на протяжении всей войны я всегда видел сражение только с одной, нашей стороны.

Наконец мы добираемся до штаба корпуса. Полковник, начальник штаба, докладывает Петрову о положении. Петров связывается с Москаленко, говорит ему о пробке, о картине, которую застал у железнодорожной выемки, и добавляет:

— Для того чтобы реально поддержать пехоту, нам неминуемо придется сейчас убрать с дороги часть артиллерии и развернуть ее на огневых позициях пока что по эту сторону железнодорожной выемки.

Поговорив с Москаленко, Петров связывается по телефону с соседним корпусом, куда он собирается теперь ехать, и приказывает выслать маяка.

Доехав до маленького разбитого городишки Сируши, мы встречаем этого маяка — майора. Он подсаживается к нам четвертым на заднее сиденье «виллиса», и мы едем дальше.

На этот раз дорога идет через рубеж недавнего переднего края. Снегу за эти шесть-семь часов намело столько, что и воронки, и трупы, и вообще все замаскировано снегом. Подальше от дороги ничего не видно, видны только те убитые, что лежат около самой

дороги. Убитые немцы, потом лошадь с оторванной ногой, потом труп красноармейца на обочине, прикрытый плащ-палаткой.

Навстречу идут раненые. В такую погоду особенно мокрые, измученные, с шинелями внакидку, сразу потерявшие вид солдат. Кстати сказать, как я уже успел заметить, раненые сгоряча, вскоре после ранения, склонны к крайностям. Один говорит: мы взяли то-то и то-то, дали немцам жару. Другому, наоборот, все рисуется в мрачном свете, хотя бой был один и тот же. Это зависит, конечно, и от степени физического страдания, большего или меньшего, которое испытывают в этот момент люди. Но не только от этого, а еще и от природного темперамента, который в трудные для человека минуты всегда проявляется с особенной резкостью.

По дороге выясняется, что майор сам не знает ее до конца и что у каких-то домов, чтобы проводить нас к командиру корпуса, должен быть выставлен еще один маяк. Мы останавливаемся около этих домов. Маяка нет. Майор выскакивает из «виллиса» узнавать. Мы минут десять стоим и ждем. Дождь пополам со снегом все хлещет и хлещет. На подводе везут раненых, на передке, нахохлившись, сидит повозочный. И он и раненые мокры до того, что плащ-палатки, которыми они накрылись, из зеленых стали черными, такими черными, что эти люди кажутся мне похожими на угольщиков.

Съездившийся от непогоды солдатик идет навстречу машине. Он сторбился, нахохлился, на плече у него ручной пулемет, в руке диски. Но, заметив генерала, он подтягивается, делает равнение направо и несколько шагов проходит мимо строевым шагом.

Петров окликает его:

— Какого года?

— Тысяча девятьсот двадцать шестого...

— Молодой, а службу знаешь,— говорит Петров.— Молодец!

— Разрешите идти?

— Иди.

В эту минуту появляется наш майор, и мы вновь едем куда-то дальше, сворачиваем еще один раз, потом другой. Останавливаемся снова у каких-то домов. Майор опять соскакивает с машины, чтобы узнать, где командир корпуса.

Как только он уходит, к нам подбегает молодой, 29

хорошо сложенный старший лейтенант, одетый сугубо по форме, с обычным спутником офицеров связи — планшетом, перевязанным крест-накрест красной резинкой. Он обращается к Петрову и говорит, что выслан генералом сюда, навстречу, на дорогу.

— А где генерал? — спрашивает Петров, не дав ему договорить.

— Недалеко отсюда, два километра, — говорит лейтенант.

— Ехать туда можно?

— Ехать нельзя, товарищ командующий, там потери, обстреливают.

— Что же, что обстреливают? — говорит Петров.

— Имеется много убитых, — говорит лейтенант. — Если меня убьют, это ничего, а вам нельзя ехать туда, товарищ командующий!

— Ну, ладно, это не ваше дело, — миролюбиво говорит Петров и делает жест, чтобы водитель трогался.

Но в эту секунду возникает перед машиной наш майор с каким-то еще офицером, и выясняется, что произошло недоразумение. Командир корпуса, к которому мы едем, генерал Шмыго, здесь, в соседнем доме, а лейтенант, выскочивший нам навстречу на дороге, послан от командира другого, горнострелкового корпуса генерала Жукова.

Входим в избу. В окне выбито два стекла, но топится печка; мы раздеваемся и греем у нее руки.

Шмыго, небольшого роста, коренастый человек в генеральской папахе и рыжей куртке из американского брезента мехом внутрь, почему-то кажется мне знакомым. То ли я его встречал раньше, то ли мне почему-то кажутся знакомыми все такие же, как я, картавые люди.

Он спокойно и деловито докладывает о положении на участке его корпуса. Петров сидит над картой и проверяет по ней доклад. Выясняется, что за первые восемь часов наступления продвижение корпуса небольшое — от двух с половиной до трех километров. Но, как выражается Шмыго, в последний час он почувствовал у себя на левом фланге намечающийся успех и предлагает ввести там часть своих вторых эшелонов, чтобы развить продвижение.

— Где крепче всего держатся немцы? — спрашивает Петров.

Шмыго показывает по карте где.

— Вот здесь у них сплошные траншеи. Траншеи,

траншеи и траншеи. А здесь артиллерийские позиции.

Петров берет карандаш и неожиданно проводит по карте линию от показанных Шмыго участков немецкой обороны на север, к окраине того леса, о боях за который все время шла речь на наблюдательном пункте у Москаленко.

— Ну вот,— уверенно говорит Петров,— теперь ясно, что основной рубеж проходит у них здесь, потом идет сюда, а отсюда выходит к опушке леса. Точно! — и спрашивает у Шмыго: — Сколько вы взяли пленных?

— Пока немного...

— А как ваше мнение,— спрашивает Петров,— вот этот рубеж, в который вы уперлись, здесь сосредоточены их резервы или это просто их вторая линия?

Шмыго колеблется.

— Думаю, что резервы,— говорит он, но в его голосе нет уверенности. Видимо, он еще не решается сделать тот неприятный и для него и для командующего фронтом вывод, что в сущности нами преодолена до конца только первая линия, на которой немцы держали меньшую часть войск. А вторая линия, на которую они успели до начала наступления отвести большую часть сил, хотя в какой-то мере и накрыта огнем во время нашей артподготовки, но не подавлена.

Выслушав Шмыго, Петров говорит несколько слов, из которых я понимаю, что он сам делает за командира корпуса этот неприятный вывод, договаривая до конца то, что Шмыго имел в виду, но не решился высказать.

Петров приказывает соединить его по телефону с командиром горнострелкового корпуса Жуковым. С вызовом что-то не получается. Лейтенант выходит выяснить, есть ли связь, и возвращается с известием, что где-то обрыв и нужно подождать, пока восстановят линию.

Мы ждем. Пробуем тем временем связаться кружным путем, через другие линии связи.

— Если связаться не удастся, пойдём туда пешком,— говорит Петров.

После предупреждения лейтенанта о том, что туда нельзя ехать на машине, много убитых, у меня нет особенного желания идти туда. В душе я хочу, чтобы 31

Петрову поскорее удалось связаться с Жуковым по телефону.

Мы ждем минут десять. Как я понимаю, Петрову тоже хочется соединиться с командиром горнострелкового корпуса по телефону, но, наверно, по другим причинам, чем мне. Его не устраивает, что хождение туда и обратно по этой распутице отнимает слишком много времени, а ему еще нужно, по его плану, захватить засветло к танкистам, а после них к Гречко.

Наконец нас все-таки связывают с начальником штаба горнострелкового корпуса, и Петров передает ему несколько приказаний по телефону.

Мы одеваемся, снова влезает во все промокшее — ничего, конечно, не высохло, — садимся на «виллис» и едем через городок Струмень на его окраину, где нас должен ожидать выставленный танкистами маяк. Долго крутимся там, но маяка не находим, и Петров, плюнув, едет дальше вдоль стоящей на дороге танковой колонны, рассчитывая впереди, в следующей деревне, найти ее начальника.

Из какой-то полуразрушенной хаты вылезает нам навстречу майор — командир мотострелкового батальона, судя по фамилии и по виду, азербайджанец.

Петров хочет поскорее связаться по радиации с начальником штаба бригады. Майор поспешно говорит:

— Сейчас, так точно, — и быстро идет впереди машины вдоль бесконечной вереницы танков.

Мы довольно долго медленно едем за ним, наконец куда-то сворачиваем. Петров спрашивает его на повороте:

— Так где же ваша радиация?

— Там, — показывает он назад. — Там моя радиация, в танке.

— Так куда же вы нас ведете?

— А я вас вел к начальнику штаба полка.

Оказывается, он от волнения все перепутал. Мы с трудом разворачиваемся и едем назад. И только уже у самой Струмении, почти вернувшись в нее, замечаем около полуразбитого сарая несколько «виллисов».

Выясняется, что командир бригады, он же начальник колонны, находится именно здесь.

В сарае стоят стол, три стула, и толпится вокруг них человек двадцать, если не больше. Начальник колонны — судя по его должности, наверно, полковник — еще совсем молод. Он в шлеме и в полушубке без погон. Выясняется, что он ждал нас на окраине

Струмени, около костела, но мы проскочили мимо него.

— Я вам махал,— говорит он,— но вы не заметили.

— Не удивительно, что мы вас не заметили,— говорит Мехлис, показывая на его полушубок без погон.

— Только час назад надел полушубок, шинель вся вдрызг промокла.

Петров приказывает полковнику связаться с начальником штаба корпуса и передать ему, что командующий фронтом приказал свернуть всем танкам этой левой колонны с дороги и встать на ночь неподалеку отсюда, в треугольнике между тремя деревнями.

— Пусть люди отдохнут и немного обсушатся по домам.

Поясняя свое приказание, Петров говорит, что сегодня, по всей вероятности, корпус не будет введен в дело и, стало быть, людям незачем мокнуть.

Полковник, услышав это, просит разрешения подвести кухни и накормить людей горячей пищей. Он объясняет, что вчера им было запрещено тащить с собой вперед все лишнее, в том числе и кухни.

— Конечно, было запрещено,— говорит Петров.— А сейчас, раз есть возможность накормить людей горячим, надо накормить.

От танкистов едем к Гречко. На повороте задерживаемся еще у одной пробки. Несколько минут стоим впритирку к грузовику, в кузове которого бойцы едят из котелка.

— Все каша да каша? — улыбнувшись, спрашивает их Петров.

— Так точно! Все каша да каша,— отвечает кто-то из солдат.

Свернув через два или три километра после Струмени на проселочную дорогу, мы скачем по чудовищным кочкам, переваливаем через почти непроходимую канаву и наконец застреваем. Второй «виллис» проскакивает вперед и начинает на тресе вытягивать первый.

Я присоединяюсь к общим усилиям автоматчиков и адъютантов, начинаю пихать застрявший «виллис». «Виллис» выскакивает из ямы, и меня, как это обычно со мной бывает, с ног до головы заляпывает грязью. Чтобы хоть немного от нее очиститься, приходится отойти в сторону и, легши на снег, проползти

по нему несколько шагов сперва на брюхе, потом на спине. За мной на снегу остается такая огромная грязная полоса, что показавший мне этот прием толстый Кучеренко хохочет до слез!

Выбираемся из колдобин и быстро просканиваем полупустой промежуток, один из тех, что почти неизбежно остаются на стыке двух больших хозяйств, даже когда они, казалось бы, стоят плотно друг к другу.

Едем вдоль железнодорожной насыпи. У насыпи, врытые в землю так, что дула почти лежат на уровне насыпи, стоят противотанковые орудия. Людей не видно. Недалеко от одной из пушек торчит из-под снега кусок плащ-палатки. Очевидно, люди сидят в ямках и, накрывшись плащ-палатками, греются. Потом у самой дороги попадают два окровавленных немецких трупа.

Наконец мы добираемся до разрушенного поселка с разбитой церковью и остатками железнодорожной будки. Там в точно назначенном месте нас ждут броневик и «виллис». Маяк от Гречко.

— Что, замерз, дожидаясь нас? — спрашивает Петров, называя по фамилии дожидавшегося нас здесь майора.

Я уже в который раз замечаю, что у командующего хорошая память на фамилии.

— Никак нет, не замерзли, — говорит майор.

Едем вслед за «виллисом» по шоссе вдоль железной дороги.

На путях неожиданно возникает синий спальный вагон с выбитыми стеклами. Он стоит как-то одиноко и нелепо среди этого военного пейзажа. Слева лес, справа вдоль дороги изгородь свеженарубленных елок, воткнутых в землю для укрытия движения по дороге.

Въезжаем в лес, сворачиваем направо, потом еще раз направо. Мне начинает казаться на последних поворотах, что мы заехали в самую гущу леса. Наконец останавливаемся.

В лесу стоит несколько машин, поодаль пара пулеметов. Около одного из них разведен костер и греются солдаты. Пахнет вкусным смолистым дымом.

Оставив свои «виллисы» около других машин, мы идем еще шагов сто по лесу, и я, пока иду, недоумеваю, почему наблюдательный пункт Гречко расположен в такой глухомани.

Еще двадцать шагов, и я вижу между соснами несколько плосккрыших деревянных домиков-скоропелок, похожих на те, что я когда-то часто видел на Мурманском направлении. За домиками начинается просвет.

Все правильно, это не глухомань никакая, а опушка леса, выходящая близко к противнику. Значит, я просто потерял ориентацию, пока мы несколько раз поворачивали в лесу!

Кроме домиков за полсотни шагов от них успеваю заметить высокую свежевстроенную наблюдательную вышку.

Петрова и Мехлиса встречает Гречко. Человек высокий, стройный, молодой или, во всяком случае, очень молодежавый, со спокойным голосом и неторопливыми движениями.

Когда мы, уезжая от Москаленко, на скорую руку перекусывали, Мехлис угощал Петрова яблоками, которые его адъютант возил с собой в чемоданчике. Вспомнив об этом еще по дороге сюда, к Гречко, Петров сказал, повернувшись с переднего сиденья к Кучеренко:

— Вот если бы Лев Захарович вместо яблок нас водкой догадался угостить, сейчас бы как раз, по такой мокроте чарочку водки...

Кучеренко там, на дороге, услышав это, только сочувственно хмыкнул.

Теперь, когда мы вошли в домик Гречко и сняли всю верхнюю одежду, которую теперь можно было уже просто-напросто выжимать, Петров сказал:

— Интересно, угостят ли нас у товарища Гречко?

Гречко сказал, что через пятнадцать минут все будет, и позвонил по телефону — «Привезите покушать», — не дав при этом никаких дополнительных объяснений, из чего я понял, что все распоряжения отданы заранее.

Пока мы сидели, отогревались, Гречко знакомил Петрова с обстановкой. Как я понял из их разговора, хотя Гречко сегодня действовал меньшими силами, но в полосе его армии наступление развертывалось несколько более удачно, чем у Москаленко. Войска вышли к Висле и, кажется, переправились через нее.

Накануне Гречко вел разведку боем. Во время этого боя была истреблена немецкая рота, взят в плен офицер, и немцы в результате подтянули на первую линию обороны больше войск, чем у них было рань-

ше. Поэтому и артподготовка оказалась более действенной, и продвижение встретило меньше препятствий.

Говоря обо всем этом, Гречко считал нужным подчеркнуть, что он наступал небольшими силами и до сих пор нигде не вводил в бой вторых эшелонов.

Петров спросил его о потерях.

— В одной дивизии триста человек убитых и раненых, в другой — четыреста пятьдесят, — сказал Гречко.

— Да, надо было и на правом фланге провести разведку боем, — сказал Петров. — Это наша ошибка! — И еще раз повторил: — Ошибка!

Мне понравилось, что он не старался из соображений престижа скрыть в разговоре с подчиненным то, что у него как у командующего фронтом сегодня пока не все получается так, как хотелось бы, не все в течение дня делалось наилучшим образом.

Гречко дважды сдержанно упомянул о том, что у него в резерве имеется несколько дивизий. И, как я понял по одной из реплик Петрова, командарм подчеркнул это сознательно. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что он в сущности предлагал подумать о дальнейшем развитии успеха именно в полосе его армии.

И я отметил для себя показавшуюся мне совершенно очевидной, даже на первый взгляд, разницу в характерах двух командармов. Москаленко — напористый, горячий, увлекающийся... Гречко — спокойный, основательный, хозяйственный, скупой; в нем, как мне показалось, есть нечто прижимистое, не в плохом, конечно, а в чисто военном смысле.

Потом уже, ночью, прощаясь со мной, о разнице между этими двумя людьми мне сказал сам Петров.

— Гречко — хозяин, — сказал он. — Скупое тратит, осторожно действует, бережет людей. Москаленко — весь порыв, всегда торопится вперед. Но мне по душе его непосредственность, он очень непосредственный человек!

Мы сидели в домике у Гречко, когда туда зашел член Военного Совета армии генерал Исаев. Мехлис познакомил нас.

В первую минуту мы с Исаевым не узнали друг друга, а потом оба вспомнили, что уже дважды встречались. Сначала в политотделе 14-й армии в Мурманске, а потом в 60-й армии под Тарнополем.

Ровно через пятнадцать минут действительно появился полный обед, с закуской и даже с дикой, как выяснилось, застреленной в этом же лесу козой.

Мехлис с абсолютно неожиданной для меня ловкостью взял бутылку водки, обил о стену сургуч и, стукнув ладонью по дну, выбил пробку.

— По вашему методу, — сказал он Петрову.

— Но с нововведением, — сказал Петров, — о стенку сургуч — это уж вы сами...

Когда на столе появился обед, Мехлис сказал, что для экспромта это великолепно.

— У Гречко экспромтов не бывает, — усмехнувшись, сказал Петров.

За обедом говорили о посторонних вещах. Кто-то из командиров принес в домик белку с перевязанной бинтом лапкой. И говорили об этой белке, о фазане, которого подстрелил командарм, о том, что к домику подходило близко сразу восемь коз, но, пока схватились их стрелять, они уже убежали.

Петров сидел в углу, и, хотя он принимал участие в общем разговоре, мне казалось, что он все время при этом думает о чем-то другом, своем. Так, наверно, и было на самом деле. Во всяком случае, сразу, как только мы кончили обедать, он соединился по телефону с начальником штаба фронта, чтобы передать в мехкорпус отмену своего приказа о рассредоточении танков. Приказал оставить их там, где стоят.

— Если здесь у вас наметится более очевидный успех, — сказал он Гречко, — может быть, будем вводить у вас.

Мы вышли из землянки. По-прежнему шел дождь со снегом, ветер дул еще свирепее, чем раньше. Гречко собирался проводить командующего до машины, но Петров воспрепятствовал этому.

— Нет, нет, Андрей Антонович, и так прекрасно пройдем. У вас много дел и без этого. Прошу оставаться, желаю вам всего доброго.

Мы сели в машину и, выехав из лесу, свернули на какую-то показавшуюся мне странной дорогу. Она была хорошая, ровная, с чуть заметными бортиками по сторонам. Тут же рядом с дорогой и на одном уровне с ней с одной стороны бежала колея железной дороги.

— А вы знаете, что это за дорога, по которой мы едем? — спросил Петров.

— Нет.

— Мы с вами едем по железнодорожному полотну. Тут, на этом участке, была трехпутная колея. Два пути мы использовали — рельсы посередине сняли, оставили только по краям, а между ними подсыпали гравий. И получилась превосходная дорога! У Гречко другого выхода не было, и вот нашелся...

Как раз в тот момент, когда Петров договорил это, мы проехали под оставшимся от железной дороги семафором. Сидевший рядом со мной автоматчик, задрав голову, смотрел в небо, по которому ходил длинный луч прожектора. И вдруг сказал мне:

— Поглядите, какие красивые облака несутся.

И в самом деле, по темному небу в луче прожектора с удивительной быстротой проносились гонимые ветром низкие маленькие облака.

Мы заехали на несколько минут на квартиру к Петрову и выпили там по стакану чая. Я в последний раз за день влез в «виллис» и поехал ночевать в политотдел 38-й, в Пщину. Влез не надевая ушанки, потом уже на ходу стал надевать ее. Она была мокрая, как лягушка. Такая мокрая, что, когда я стал выжимать ее, из нее полились струйки воды. Так и поехал без шапки, пригнувшись пониже за ветровым стеклом, все-таки лучше...

МЕЖДУ ГЛАВАМИ

Должен признаться, что лишь через много лет после войны, собирая материал для книги «Последнее лето», половина которой отведена рассказу о том, как армия готовится к наступлению, я впервые по-настоящему понял всю огромность масштабов той подготовительной работы, которая ведется перед началом каждой крупной операции.

О том, как готовятся наступления, мне, военному корреспонденту, никогда за всю войну писать не поручали, да по условиям военного времени и не могли поручать.

Мое дело было — вовремя попасть в армию к началу наступления и написать о нем после того, как оно начнется.

Словом, вышло так, что я ни разу не видел своими глазами (и поездка на Четвертый Украинский фронт не была в этом смысле исключением) тех предшествующих наступлению напряженнейших не-

дель и дней, когда все фронтовые и армейские органы — и Военные Советы, и политотделы, и штабы, и тылы — делают все от них зависящее, чтобы заложить основы успеха, заранее создать для него объективные условия.

А между тем эти, казалось бы, сухие слова «объективные условия» заключали в себе тогда очень многое: не только сосредоточение техники, боеприпасов, продовольствия, горючего, переправочных средств, не только проигрывание будущей операции на штабных картах, учебные стрельбы, пробные переправы, тренировку пехоты для броска за огневым валом; они заключали в себе и то, что в официальных документах мы называли политико-воспитательной работой: моральную подготовку людей, которым предстоит идти в огонь.

Последние месяцы войны, когда ее конечный результат был уже ясен для каждого солдата, люди, страстно желавшие победы, в то же время с особенной силой хотели увидеть ее своими глазами, дожить до нее в огне последних боев. Им так не хотелось умирать! Понять это нетрудно, и умалчивать об этом нет нужды. А в таких условиях моральная подготовка людей к предстоящему наступлению и к готовности вновь, в который уже раз за войну, пойти на необходимые для достижения успеха жертвы была особенно нелегким, но и особенно необходимым делом.

Многое из того, о чем я сейчас упомянул, так и не попало в мое поле зрения военного корреспондента, и я сожалею, что не могу задним числом добавить в свои записи 1945 года того, что пропустил, не успел или не сумел увидеть тогда.

Но мне кажется справедливым после первой же главы этих записок напомнить читателю, что жесткая требовательность людей, управлявших ходом боя с наблюдательных и командных пунктов армии, опиралась на их сознание, что в ходе подготовки к операции если не все, то, во всяком случае, большая часть объективных условий, необходимых для достижения победы, были созданы. И, стало быть, теперь дело в субъективных усилиях всех тех подчиненных им генералов и офицеров, которые перед началом доложили и о своей готовности к действию, и о своей уверенности в успехе, и теперь в бою обязаны поступать так, чтобы слово не расходилось с делом.

Язык войны — жесткий язык. Перечитывая сейчас записанные мною тогда на командных и наблюдательных пунктах телефонные переговоры, я не стал смягчать задним числом ни их резкости, ни их жесткой требовательности. Такое смягчение нарушило бы правду той ни с чем другим не сравнимой по своему нервному накалу атмосферы, в которой работали военные люди в периоды активных операций на фронте.

В разгар боев, когда за каждой оплошностью, за каждой упущенной минутой в конечном итоге всегда зримо или незримо присутствует ее цена — людские потери, — начальники редко хвалят своих подчиненных. Гораздо чаще проверяют, требуют, нажимают. Одобряют — коротко, благодарят — скупо, требуют — постоянно.

А хвалят и награждают потом, когда все, что приказано было сделать, сделано, когда все это уже позади...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Затисская книжка за 12.3.45

Еще с утра, когда я был у Петрова, разрешившего заехать к нему познакомиться с обстановкой, мне показалось, что дело начинает идти на лад.

Сам Петров не говорил об этом, но это чувствовалось и по общему настроению, и по тону его голоса, когда он разговаривал при мне по телефону и настойчиво и приподнято спрашивал о разных пунктах: взят ли этот, взят ли тот?

После короткого разговора с Петровым мы с Альпертом сели на свой «виллис» и поехали в сторону фронта. Решили сначала заехать к Москаленко, а оттуда на его правый фланг — в 101-й корпус генерала Бондарева, где, судя по телефонным разговорам Петрова, сегодня намечался успех.

На том фольварке, где десятого марта был наблюдательный пункт 38-й и было тогда полным-полно народу, сейчас сидели только два или три человека из оперативного отдела. Все начальство уехало впе-

ред, в Павловицы, деревню, расположенную на территории, отбитой за эти два дня у немцев; там помещался теперь наблюдательный пункт 101-го корпуса.

До Павловиц мы добрались сравнительно быстро, застряв только в одной пробке. Грунт промерз недостаточно, но погода была приличная, пожалуй, градуса два мороза. В том месте, до которого мы в прошлый раз дошли с Петровым пешком и остановились, теперь через огромную железнодорожную выемку был переброшен мост, а поодаль от него по краям выемки были сделаны косые пологие съезды, и по ним настелена дублировавшая мост, спускавшаяся на дно выемки жердяная дорога. И этот мост, и эта жердяная дорога уже почти ликвидировали пробки.

Павловицы были сильно разбиты артиллерийским огнем, должно быть, и нашим, и немецким. Повсюду выбитые стекла, все улицы в воронках, стены домов, как шкура леопарда, испещрены черными пятнами от осколков.

К одной из таких, испещренных осколками стен были прямо снаружи пристроены, очевидно, каким-то шутником большие дубовые стенные часы с гирями. Маятник исправно качался, а время было абсолютно точное.

Проходя мимо этих стенных часов, какой-то боец полез в карман, вынул свои часы и сверил их.

Посредине деревни наш «виллис» затерло в пробке. Мы оставили его и пошли пешком на южную окраину Павловиц. Там, сразу за окраиной, размещался штаб корпуса. Дом был грязный и полуразбитый снарядами, и в одном из его флигелей в уцелевшей небольшой угловой комнате был командный пункт Бондарева.

Самого Бондарева не было, но в комнате сидели его начальник артиллерии, Москаленко, Епишев, командующий артиллерией фронта генерал-лейтенант Кариофили и приехавший сюда, очевидно прямо из штаба фронта, раньше нас Петров.

— Ну и какие же там у немцев блиндажи? — спрашивал кого-то по телефону Москаленко в тот момент, когда я вошел. — Ах, вон как, даже с коврами? А немцев убитых много?

В это время Петров, продолжая начатый разговор, говорил Епишеву:

— Уверю вас, что наши радисты и наши телефо- 41

нисты порой лучше понимают серьезность обстановки, чем иные штабные офицеры. Во всяком случае, если не понимают, то чувствуют ее иногда безошибочно.

По настроению всех сидевших в комнате мне показалось, что дело продолжает идти на лад.

Москаленко снова и снова брал трубку, разговаривая с командирами корпусов и дивизий.

— Здравствуйте! Что же это вы ночью хорошо действовали, а днем погано? Почему? Дневного света боитесь?

— Надо огнем ломать сопротивление, а не кровью.

— А вы откуда со мной говорите? Из лесу? Все из того же? Очень плохо. Я считал, что уже вчера вас оттуда выгнал, а сегодня приходится еще раз выгонять. Немедленно вперед, в Гурны!

— Дайте побольше огня по дорогам, ведущим к немцам из Ратиборы! Немцы оттуда тащат войска!

— Вот сегодня, по крайней мере, по стрельбе бой чувствуется,— положив трубку, говорит Москаленко, обращаясь к окружающим.— А то вчера артподготовка кончилась и сразу настала гробовая тишина.

Ему звонят, и он снова берется за трубку, говорит со своим начальником штаба.

— А откуда движутся немецкие танки? Так. А где они утром были? Так. Ну, если они сейчас еще там, то будут здесь, перед нами, не раньше, чем завтра утром. Нацеливайте на них и сегодня и завтра с утра авиацию, чтобы по возможности разбомбила их на подходе.

Очевидно, промежуточный телефонист, не успев соединиться с Москаленко, говорит про него кому-то, что он куда-то пропал.

— Я не пропал,— весело кричит по телефону Москаленко.— И никогда и никуда не пропаду, пока война не кончится.

— Плохо воюете! Плохо воюете! Скажите своему Первому, что он последние дни командует вашим хозяйством, если будет так, как сегодня, распускать слюни. Уговаривает там, понимаете, своих командиров бригад,— недовольно отрывается Москаленко от телефона,— вместо того, чтобы им приказать! Я вот возьму да передам сейчас его 103-ю бригаду Бондареву!

По другому телефону разговаривает полковник — командующий артиллерией корпуса, совершенно ох-

рипший за эти дни голос и вдобавок немножко шепелявящий оттого, что у него нет нескольких передних зубов.

— Я думаю, что сегодня пройдем еще не особенно далеко,— говорит Петров.— Так я думаю. Вот здесь они попробуют задержаться, на этом рубеже. Сегодня надо напирать здесь, где уже пошли, развивать успех. А на завтра все равно придется готовить удар еще и в другом месте.

Москаленко говорит по телефону, должно быть, со своим командующим артиллерией.

— То есть как это у вас залпов нет? А вы скажите вашим эрэсовцам, что мы здесь присутствуем — и я и командующий фронтом,— у них сразу найдутся и залпы и все!

Как только он положил трубку, возникает разговор о возможности использования эрэсов для стрельбы прямой наводкой.

— Ну и что ж,— говорит Москаленко,— какие у нас основания больше цацкаться с ними, чем с другими видами вооружения? Их тоже нужно при случае на прямую наводку использовать. Особенно при артподготовке — скрытно подвезти дивизион, скрытно его поставить и ударить с короткой дистанции. Впечатление страшное!

Кто-то замечает, что эрэсами можно бить даже с меньшего расстояния, чем километр.

— С меньшего нет! Для этого у них слишком большое рассеивание.

— Это хорошо, что они там уразумели, что надо не пузом брать, а огнем,— говорит Петров, выслушав доклад только что пешком добравшегося с передовой офицера связи, и, назвав его по фамилии, спрашивает: — Ну, как, за эти дни много сапог стоптали?

— Порядочно.

— А новых командующий армией не дает?

— Пока не дает.

— Ладно, приходите ко мне,— улыбаясь, говорит Петров.

Москаленко приказывает командиру находящейся на марше артиллерийской бригады поскорее двигаться, чтобы не задержать идущих вслед танков.

— Если догонят, пропустите.

— Меня радует,— говорит Петров,— что за эти дни обозники стали подисциплинированнее. Их на-

качали перед боями; и они теперь сами без криков и напоминаний сворачивают с дороги.

— Танков боятся,— усмехается Москаленко.— Боятся, что раздавят и не заметят!

Заходит речь о том, чтобы очистить огнем какую-то рощу, в которой зацепились немцы. Епишев предлагает поставить на эту прочистку незанятую сейчас легкую зенитную артиллерию.

Москаленко соглашается и дает соответствующее приказание.

— Послушайте, Соколов,— говорит Епишев совсем потерявшему голос начальнику артиллерии,— если вы нам сегодня обеспечите на дорогах свободный проход мехкорпуса, то я вам завтра же пришлю протезиста, чтобы срочно зубы отремонтировал.

— А я уже думал об этом,— говорит Соколов,— да боюсь, как бы мне после этого ремонта на целую неделю из строя не выбыть, пока привыкну.

— Да,— соглашается Епишев.— А все-таки как-никак после окончания операции придется. Вас, как я слышал, скоро с генералом будем поздравлять, надо чтоб до этого с зубами порядок был. А то еще наклепают злые языки, скажут: узнали, что беззубый, и дали ему генерала по старости лет!

Москаленко доносят, что командир 42-й тяжелой танковой бригады ранен в ногу, причем тяжело.

— Храбрый был командир,— говорит Москаленко. И начинает звонить танкистам, начальнику штаба этой бригады.— Здравствуйте, Фарберов! Покажете себя хорошим командиром, останетесь на бригаде после операции. Только ведите себя, Фарберов, осторожнее, чем предыдущий командир. Переживаю за него! Пошлите начальника политотдела, чтобы узнал, куда его эвакуировали, и доложил. Мне сообщили, что у вас там пробка возникла. Почему? Подорвавшийся танк поперек дороги стал? Так сбросьте его с дороги, этот подорвавшийся танк! А не можете, так взорвите его толком на куски и растащите. Время дороже! — И, уже положив трубку, добавляет: — Ну, подорвется на минах несколько танков, в конце концов оправдано, если этой ценой двести других протолкнем вперед. Скоро сумерки наступят, нам надо как можно скорее вырваться к Ястшембе. Тут дерзновение нужно и еще раз дерзновение!

Телефонистки на линии называют наблюдательные пункты «глазами». Про командиров, находящихся

ся на наблюдательном пункте, говорят, что «он на глазах». Шифр, кажется, первоначально родившийся без участия начальства, по собственной инициативе связистов.

Москаленко снова на телефоне.

— Терроризируйте его огнем в глубину и, самое главное, встречайте огнем его резервы на дорогах. Когда резервы противника получают хорошую пару снарядов под ноги еще на подходе, это сильнее их деморализует, чем когда они уже дойдут до передовой, и только после этого начнешь их обстреливать.

Откуда-то с передовой передают донесение Бондарева, что взята Кындра.

— Кындра взята? — переспрашивает Москаленко и, счастливо улыбнувшись, даже незаметно для себя слегка подмигивает.

Петров уезжает. Перед его отъездом происходит небольшая, но характерная, с психологической точки зрения, сценка. Является подполковник, начальник штаба бригады, которая сегодня вводилась в бой в составе бондаревского корпуса. Судя по последнему разговору, за командиром этой бригады числятся какие-то грехи, и вообще она на дурном счету.

— По сути, в бою еще не были, — говорит Петров, выслушав доклад подполковника.

— Никак нет, — отвечает тот, — но сто двадцать человек потерь уже имеем.

— Вот, — обращаясь к нему, говорит Москаленко, — в бригаде у вас безобразия, действуете до сих пор плохо, никуда не годно! О командире вашем имею сведения самого скверного свойства, он виноват, но и вы, наверное, тоже. Яблочко недалеко от яблоньки... Идите теперь в бой и деритесь как следует — это вам проверка! Если не выполните задачи дня, поставлю о вас вопрос перед командующим фронтом и ваш командир бригады, так и передайте ему, пойдет командовать батальоном, а вы пойдете к нему начальником штаба.

— Разрешите идти? — спрашивает начальник штаба бригады.

Но Петров его задерживает, видимо, считая, что человеку, так или иначе идущему прямо сейчас в бой, нужно сказать непосредственно перед этим какие-то другие слова. В то же время Петрову не хочется, чтобы сказанное им выглядело поправкой к тому, что перед этим сказал Москаленко.

— Вы слышали, что вам сказал командующий армией! — говорит Петров. — Так вот, все, что у вас было до этого, все, что было плохо, все это сметется и забудется, если начнете хорошо действовать. Поймите, что ваши хорошие действия все это зачеркнут, так и передайте вашему командиру бригады. Желаю вам успеха!

Он подает начальнику штаба бригады руку, и тот выходит.

Через несколько минут Петров уезжает.

За всеми этими разговорами, связанными с непосредственными донесениями с поля боя, я все время чувствую у Москаленко стремление как можно скорее ввести в бой танкистов. Корпус уже третий день стоит на дорогах в полосе армии, забивая их, и пока что не только не помогает пехоте, а сильно мешает ей. В особенности тем, что в ряде случаев не дает возможности своевременно продвинуть вслед за пехотой артиллерию.

Мне кажется, сегодня, так же как и третьего дня, у командующего фронтом и командарма нет единого мнения о сроках использования мехкорпуса. По некоторым репликам Москаленко мне показалось, что он считал нужным двинуть этот мехкорпус сегодня еще с самого рассвета. А Петров, видимо, все еще берег его, и хотя недавно приказал двинуть его по дорогам вперед и даже поставил перед танкистами частную задачу — занять вместе с пехотой несколько населенных пунктов, но, насколько я понимаю, решительного приказа о том, чтобы танкисты шли на прорыв, он все еще не дал.

Как мне представляется, сейчас вопрос сводится к выбору одного из двух решений: или с помощью мехкорпуса прорвать фронт там, где пехота его еще недопрорвала, или продолжать ждать, когда пехота окончательно прорвет фронт, и только тогда вводить мехкорпус в прорыв.

Кстати, за эти дни я уже несколько раз думал о психологии тех пехотных начальников, которых начинает раздражать долгое стояние танкистов в неподвижности за спиной у пехоты. В самом деле, наверно, психологически трудно наблюдать, как десятки стальных коробок стоят и ждут за спиной, боясь подорваться на минах или попасть под огонь артиллерии, в то время как незащищенные броней люди, пехотинцы идут вперед сквозь эти мины и сквозь этот

артиллерийский огонь. Наверно, если не входить в общий замысел операции, это просто по-человечески может казаться обидным. И, пожалуй, нет ничего удивительного, что некоторые наши пехотные офицеры сгоряча выпаливают эту обиду, порой не желая сообразоваться ни с общими обстоятельствами, ни с дальнейшими задачами.

И все-таки, как ни трудно, со скрипом повертывается машина войны, за те два с половиной часа, что я провожу здесь, на КП, как будто начинает складываться ощущение назревающего успеха.

— Спасибо за гостеприимство,— поднимаясь со стула, говорит Москаленко.— В бою гостеприимство — это не стопка водки и не стакан чаю, а доклады о хороших действиях!

Но после этого прощания он все-таки остается еще здесь, в корпусе. Снова берет трубку и говорит по телефону:

— Это хорошо, что лес занят! Противник, естественно, бежит, раз теперь ваша пехота у него в тылу оказалась.

Я решаю проехать к Бондареву, который находится сейчас где-то в одной из своих дивизий. Но как раз в это время Москаленко раз за разом звонит, разыскивая его, и никак не может найти ни в одной из дивизий. Очевидно, тот или добирается сейчас из одной в другую, или находится на обратном пути сюда.

Тогда я решаю пройти к находящемуся где-то неподалеку отсюда, в этой же деревне, командиру мехкорпуса генералу Д. Меня интересует вопрос, тот ли это самый Д., с которым я когда-то несколько раз встречался на Халхин-Голе. Там он командовал мотострелковой бригадой и, насколько я помню, по тем временам отличался спокойствием и смелостью. В общем, как говорится, был на хорошем счету.

Мы с Альпертом вошли в дом, где расположились танкисты, через большие сени, полные людей. За сенями шел коридор, а в конце его была маленькая комната. Я вошел со света, и она мне показалась совсем темной. Окна с выбитыми стеклами были забиты для тепла досками и заткнуты тряпками. Освещение составляли огарок свечи на столе да работавшая от аккумулятора крохотная лампочка под самым потолком.

Войдя, я сразу узнал Д. Это был именно тот, халхингольский Д. Он был одет в огромный американ-

ский рыжий кожаный комбинезон с меховым воротником и с «молниями» и своим горбоносим поджарым ястребиным лицом больше напоминал какого-нибудь золотоискателя или полярного исследователя, чем генерала. Рядом с ним сидел начальник политотдела, полковник, одетый в доходившие ему до половины груди меховые штаны. Под штанами была форменная гимнастерка, но штаны поверх погон были прихвачены подтяжками. Словом, налицо было то самое пресловутое нарушение формы одежды, которым при всяких обстоятельствах — и требующих этого и не требующих — любят щегольнуть многие танкисты.

Тут же был и полковник, заместитель командующего бронетанковыми войсками фронта, которого я только что видел у Москаленко.

Не уверен, узнал ли Д. меня, но сделал вид, что узнал, и, пожав мне руку, сказал:

— Да, постарели вы, здорово постарели...

После традиционного возгласа — не то Миша, не то Гриша, принеси закусить! — мы с Д. начали вспоминать Халхин-Гол и халхингольцев. Он перечислил писателей, которые бывали у него там в бригаде, и стал спрашивать, что с кем.

Я ответил, что и Ставский, и Лапин, и Хапревин, и Розенфельд, все, кроме меня и Славина, убиты в эту войну.

Он горестно вздохнул, услышав о гибели Ставского, и разговор перешел с писателей на военных. Выяснилось, что все халхингольцы, о ком бы мы с ним ни вспоминали, одно из двух — или убиты, или дослужились на войне до больших должностей.

Перебирая знакомых мне халхингольцев, я вспомнил одного из них, который тоже дошел до больших должностей, но одно время спился и был снят за это.

— А что с ним сейчас? — спросил я. — Совсем о нем не слышно.

— Сейчас командующий БТ какой-то из армий на Прибалтийских фронтах.

Этим для меня было многое сказано. Как я успел заметить за время войны, если должности командующих артиллерией и фронтов и армий были всегда очень важны и существенны и на них находились виднейшие артиллеристы, деятельные люди, игравшие самую непосредственную роль в любой операции, то должности командующих бронетанковыми войсками и во фронтах и в армиях по большей части оказы-

вались местами, куда назначали тех из танковых командиров, которым по каким-либо причинам не считали возможным дать командные должности в танковых армиях, корпусах и бригадах.

У меня сложилось впечатление, что пребывание танкистов на этих должностях — нечто вроде почетной отставки. Может быть, этому способствует и то, что, насколько я могу судить сам, круг обязанностей этих людей недостаточно определен, расплывчат. А вдобавок к этому при современных действиях целыми танковыми корпусами и армиями, которые часто далеко отрываются от соответствующих штабов, руководство ими со стороны командующих бронетанковыми войсками армии или фронта часто оказывается номинальным.

Когда Д. в разговоре со мной упомянул об этом человеке, который одно время спился, мне вдруг показалось по его резкому отрывистому смеху, отрывистой речи и какой-то общей повышенной возбудимости, что он и сам сейчас, может быть, не совсем трезв.

Хотя главная масса танков продолжала торчать на дорогах, но все-таки командующий фронтом недавно поставил перед танкистами какую-то, пусть небольшую, частную задачу. А между тем командир корпуса и начальник политотдела сидели рядом в этой темной хате, никуда не двигаясь, и откровенно скучали.

Не знаю, чем была вызвана эта протрация Д. Может быть, как раз тем, что его танки уже третий день находились на исходном положении, торчали на всех дорогах и он пребывал в том состоянии затянувшегося ожидания, которое тяжелее всего переносить человеку. Это я мог понять.

Но в то же время, когда я смотрел на Д., мне казалось, что он сейчас чем-то похож на вылетавшегося летчика. Он вдруг брал телефон и выкрикивал в него какие-то отрывистые, резкие распоряжения, а после телефонных звонков с досадой говорил о себе: «Вот, приходится сидеть в штабе, все штаб да штаб, а мне надо другое. Мне надо на большую дорогу с ножом выйти!» Очевидно, подразумевая под этим ввод корпуса в прорыв.

Но, хотя он и говорил о прорыве, у меня складывалось ощущение, что сейчас у него состояние какой-то бездеятельности. Мне казалось, что этот человек, наверно, может пойти в прорыв, может натворить там дел, но вот сейчас, в данную минуту, организо-

вать бой, выполнить ту скромную, частную задачу, которую перед ним сейчас поставили, проследить, чтобы, выполняя ее, танки двигались так, как нужно, что в этом будничном деле он не заинтересован.

В дальнейшем разговоре Д. стал хвалить командующего фронтом за то, что тот не пускает раньше времени его танки. Он радовался, что не находится в прямом подчинении у Москаленко, который, по его словам, их бы уже пустил!

И то, как он хвалил командующего фронтом, продолжавшего придерживать танки, мне в его устах не нравилось. Была в этом какая-то нота самозащиты, чувствовалось нежелание рисковать раньше, чем создастся такая обстановка, при которой большого риска не будет.

Мне просто по-человечески показалось, что, когда командующий фронтом бережет свой единственный танковый корпус и боится пустить его раньше времени, это одно. Но, когда о том же самом говорит командир этого корпуса после того, как его корпус восемь месяцев формировался и третий день стоял в бездействии на дорогах, в этом было что-то совсем другое...

Приехал офицер связи из той танковой бригады, которой сегодня была поставлена частная задача, и доложил Д., что мимо них проезжал командующий фронтом, который сказал: «Бой вести, но всеми силами в него не ввязываться».

— Вот видите, не ввязываться! — с торжеством сказал Д. — Не ввязываться! Я и сам видел, что всеми силами еще не нужно ввязываться!

Но сам он настоящей связи с своей вступившей в бой бригадой, насколько я понял, пока не имел, и о том, где находятся его же собственные танки, его пришел проинформировать офицер оперативного отдела стрелкового корпуса. Оказывается, мотопехота залегла под огнем, а танки стояли в колонне перед минным полем и из колонны стреляли.

Выслушав это, Д. никак не реагировал, как будто всего этого не было. Он то диковато смеялся, то часто и широко улыбался, и странная улыбка эта казалась мне минутами просто улыбкой нервничающего человека. Может быть, это было не так, но мне казалось, что именно так.

Вскоре появился начальник штаба корпуса, одетый тоже в комбинезон, генерал с круглым лицом.

— Ну, как? — спросил его подковник из АБТ фронта.

— Поспал.

— Я заходил, видел. Не стал тебя будить.

Протерев со сна глаза, начальник штаба корпуса стал с ходу ругать командарма, который разбудил его сейчас своим звонком, а до этого уже один раз грубо говорил с ним еще под Сталинградом.

— Я тоже ему сейчас в голос ответил, — с оттенком хвастовства сказал начальник штаба. — Он голос поднимает, и я голос подымаю. Хоть бы мне в третий раз на него не работать, а то еще сморожу про него то, что думаю...

В манере, с какой он все это говорил, было какое-то неумное мальчишеское бахвальство: «А ну, тронь меня, а ну, только тронь! А ну, попробуй...»

Принесли тарелку с кусками колбасы и вареного мяса, бутылку с мутной жидкостью и два стакана. Нам с Альпертом налили по полстакана этой мутной жидкости. Мы спросили, почему только нам.

— Мы только что завтракали, — сказал Д.

Когда он сказал это, я подумал, что был прав, предположив, что он уже успел выпить.

— Уже завтракали, — повторил Д., — и больше не будем. Пейте одни.

Эти слова меня обрадовали. В общем-то, он был радушен, отнесся к нам, как говорится, с хорошей душой, и мне даже как-то неловко заносить на бумагу свои невеселые впечатления от того состояния, в котором я его застал. Но ничего не поделаешь...

Мы выпили по полстакана налитой нам мутной жидкости, которая оказалась скверным свекольным самогоном, и еще дожевывали мясо, когда вбежал адъютант и шепотом произнес:

— Генерал-полковник!

Бутылка с самогоном со сверхъестественной быстротой оказалась под столом. Вставая навстречу входящему, все думали, что это будет Москаленко. Но вошел Мехлис.

Он начал с того, что посмотрел по карте обстановку, которую только что, за десять минут до этого, нанес офицер оперативного отдела стрелкового корпуса. При этом Д., объясняя Мехлису обстановку, как я успел заметить, начертил на карте красную дугу не в том месте, где собирался.

— Что это у вас так темно? — спросил Мехлис.

— Да вот окна забиты.

— Что же вы не постараетесь получше устроиться? — спросил Мехлис, светя на карту фонарем.

— А мы через некоторое время уйдем отсюда, — сказал Д. — Через час, через два уйдем.

— Куда? — спросил Мехлис.

— А вот, — Д. показал на карте село Гурны. — Мы уже туда людей на рекогносцировку послали, чтобы подготовили место.

Говоря так, он солгал. На самом деле никого он на рекогносцировку не посылал, а просто полчаса назад между ним и начальником штаба произошел следующий разговор:

— Через час снимемся отсюда и пойдем вот сюда, в Гурны, — ткнул Д. пальцем в карту.

— Как же вы хотите сюда, когда там еще немцы?

— Да нет там никаких немцев.

— Нет, там еще немцы.

— А что нам немцы, пойдем туда, и все!

— Когда пойдем? Когда бригады пойдут? — спросил начальник штаба.

— Бригады ночью пойдут. Мы будем уже там, а потом бригады подтянутся. Мы же с тобой не раз так делали.

— Конечно, можно и туда выехать, — сказал начальник штаба, немного рисуясь при этом. — Мы с тобой и под автоматным огнем бывали! Вот только как бы связь не потерять.

— Ничего, будет и связь.

— Да что связь, мы с тобой под автоматным огнем не раз бывали, это пустяки, — снова повторил начальник штаба. — Надо будет только рацию с собой тащить.

— Ничего, через час пойдем, — еще раз повторил Д.

Тем и кончился тогда их разговор о переходе на новое место. И мне показалось, что не только через час, но и через два они никуда не уйдут отсюда, а пробудут здесь, по крайней мере, до утра.

Ознакомившись по карте с обстановкой, услышав о предстоящем переходе штаба на другое место и получив, как мне показалось, более чем приблизительное представление о том, что здесь на самом деле происходит, Мехлис стал спрашивать, как с горячим.

стов всего на полторы заправки, а фронт перестал их снабжать.

— Почему? — спросил Мехлис.

— Не знаю.

— Вы стоите на месте, наверное, поэтому и перестал давать, — сказал Мехлис.

— В общем, нам горючего не дают, — сказал Д. — Я уже послал об этом шифровку командующему фронтом.

— Хорошо, я скажу, чтобы вам выдали горючее, — сказал Мехлис.

Он расстегнул планшет, из планшета вынул блокнот, в котором была масса записей, открыл чистую страницу, потом вынул из планшета аккуратную коробочку, в которой лежали аккуратно очиненные разноцветные карандаши, выбрал один из карандашей, сделал запись в блокноте и положил карандаш обратно в коробочку. Один конец карандаша не влезал, тогда он перевернул карандаш другим концом и положил так же, как лежали все остальные. Во всем этом чувствовались аккуратность и пунктуальность.

— Вот, передайте немедленно по радию, — вырвав из блокнота листок со своим приказанием, сказал Мехлис. — А теперь скажите мне, где Бондарев.

Начальник политотдела взялся проводить его.

Простившись с Д., договорившись, что увидимся с ним на новом месте, я пошел вслед за Мехлисом. Я подумал, что если Бондарев не вернулся на НП корпуса и по-прежнему находится где-то в дивизиях, то, когда Мехлис свяжется с ним и поедет к нему, можно будет поехать следом.

Начальник политотдела проводил Мехлиса до фольварка, где я был с утра. Сейчас там находился только командующий артиллерией, оставшийся здесь за всех, в том числе и за командира корпуса.

Мехлис вынул свою карту, и артиллерист нанес на нее обстановку.

— А вот здесь танковый батальон, — сказал Мехлис, показывая на красное полукружие, нарисованное генералом Д.

— Нет у нас сведений, что здесь есть танки, — сказал артиллерист.

— А танкисты докладывают, что есть.

— Не знаю об этом, — сказал артиллерист.

Быстро вошел начальник штаба стрелкового кор- 53

пуса генерал-майор Григорьев, полный, немножко запыхавшийся от быстрой ходьбы. В шапке-ушанке и в замызганной черной кожанке.

Отдышавшись, он повторил обстановку, уже доложенную артиллеристом.

Мехлис снова, показывая на карту, повторил, что передовой танковый батальон, по данным танкистов, находится вот здесь.

— Не может быть,— сказал Григорьев.— Нет у нас таких данных.

— То есть как это нет? Они же докладывают,— с доверием пунктуального человека к пунктуальности других людей сказал Мехлис.

— Разрешите вам доложить, товарищ генерал-полковник,— сказал Григорьев,— пока наша пехота там не будет и не доложит мне, что она там, я не могу вам докладывать, что этот пункт занят.

В комнату вошел Бондарев. Вид у него был усталый. Как выяснилось, он ходил в две свои дивизии, туда и обратно пешком.

Бондарев был почти такой же, каким я его видел на Курской дуге в сорок третьем году, с печальными глазами и устало сбитой на затылок папахой. Только еще немножко похудел и постарел с того времени.

Разговор сразу же зашел о докладе танкистов. Бондарев махнул рукой и сказал: будет лежать, никуда они не пройдут. Пока хоть одна мина будет лежать, никуда они не пройдут. А если болванка над головой свистнет, так такой крик на весь свет поднимут! Сколько я ни воюю, не помню никогда случая, чтобы танки в бой впереди меня шли. Всегда моя пехота впереди танков идет. Уж как хотите, а так! Точно так.

Помолчав, добавил:

— Не понимаю, что же это такое? Танки торчат на дорогах, где-то впереди столпились, стреляют по немцам из колонны, по своему маршруту идут не в срок и не точно, а командир корпуса и начальник штаба сидят здесь в хате вместо того, чтобы протолкнуть свои танки своим авторитетом и приказом. Может, не мое это дело, но не понимаю я этого, вы меня уж извините.

— Тогда, может быть, мы вызовем командира корпуса сюда,— сказал Мехлис. И приказал позвать Д.

Пока его ждали, Бондарев, продолжая говорить о

танкистах, вспомнил о двух своих разговорах с Петровым.

— Вчера, уже к вечеру, командующий фронтом сказал мне: если к ночи возьмете такие-то и такие-то деревни, то, очевидно, будем вводить мехкорпус на вашем направлении. Мы все эти деревни к ночи взяли, а под утро он мне позвонил: «Скажи мне, Бондарев, откровенно твое мнение. Пришло ли время сейчас вводить у тебя танки?» Конечно, мне было бы легче воевать, если бы в этот момент у меня были танки. Но я ему по совести ответил, что нет, по-моему, танки вводить у меня на участке еще не время. Они потом, конечно, будут помогать, — продолжал Бондарев, — но, пока они стоят на твоих коммуникациях, сколько же они крови перепортят! Иногда кажется, хоть бы их и вовсе не было! До тех пор пока они тут с нами, до тех пор, как они своими танками в прорыв не пройдут, пока стоят на всех дорогах, артиллерия продвинуться не может, обозы застряли, пушки не протолкнешь, машины не протолкнешь — чистое бедствие!

Вскоре появился Д. и вместе с ним полковник из АБТ фронта.

Мехлис в довольно мягкой форме сказал им, что они должны сами проследить за тем, как двигаются и как вступают в бой их танки.

Полковник из АБТ фронта до этого, когда я его увидел у Д., показался мне, по первому впечатлению, человеком симпатичным и интеллигентным, с одной только возбуждавшей сомнение черточкой. Он по разным поводам как-то очень быстро вспоминал разные свои прежние храбрые поступки. А это, как я уже успел за войну заметить, довольно редко сочетается с прирожденной или твердо выработанной в себе храбростью.

По моим наблюдениям, люди, которые слишком часто вспоминают о своих даже действительно храбрых поступках, делают это тогда, когда сами очень высоко их ценят и тщательно помнят. Обычно истинно храбрые люди не склонны не только переоценивать, но даже не склонны и особенно замечать собственные храбрые поступки, а уж тем более говорить о них по всякому поводу. Впрочем, конечно, всяко бывает!

Так вот, когда Мехлис сделал свое замечание насчет танков, полковник неожиданно преобразился и

каким-то не своим, рыкающим голосом сказал, вернее, прокричал:

— Все будет сделано! Я лично проверю. Все будет в порядке. Я сейчас же пойду!

— Возьмите с собой начальника политотдела,— сказал Мехлис.— Он здесь?

— Здесь.

— Возьмите его с собой.

— Есть! Все будет сделано! Все будет в порядке. Протолкнем! — продолжал рыкать полковник.

И я подумал о нем, что, наверное, это один из тех людей, чей секрет успехов перед лицом начальства заключается в умении без паузы, сразу же громким уверенным голосом выразить готовность сделать все, что угодно, даже и не делая этого впоследствии.

— Я вам советую просто по-товарищески,— неожиданно тихо после этого рыка сказал Бондарев, обращаясь к Д.,— поехать самому. Увидят своего генерала и пойдут вперед! Поезжайте, и все. Пропихните их, попросту говорю.

— Мы с вами об этом потом поговорим,— с нотой обиды сказал Д.

Но мне показалось, что он не поедет.

— А вы тоже поедете? — должно быть, подумав о том же, о чем подумал я, спросил Мехлис.

— Я тоже сейчас поеду проверить,— сказал Д.— Разрешите идти?

— Идите.

Он и полковник ушли, а Мехлис остался.

— Прямо Волховский фронт,— сказал Григорьев, показывая на карте синие пятна озер и синие штрихи болот.

— Да, болот здесь много,— сказал Мехлис.— Но только там, на Волховском, было тяжелее. Приходилось орудия ставить на деревянные платформы, чтобы не тонули.

— А я, когда вы были там членом Военного Совета, много донесений вам посылал,— сказал Григорьев.— Хотел сам туда попасть, но не пустили.

— А вы кем тогда были? — спросил Мехлис.

— Начальником штаба Архангельского военного округа.

— А...— сказал Мехлис.— Да, от вас оттуда много пришло народу.

— Старались все лучшее, что имели, для фронта

отбирать. Одних олене-лыжных батальонов одиннадцать послали. Они не к вам попали?

— Нет, не к нам! Какие уж там, на Волховском, олене-лыжные батальоны. Их, наверное, на север послали, на Карельский.

— Две морские бригады к вам послали,— сказал Григорьев.— Прекрасные бригады.

Мехлис промолчал, и разговор зашел о потерях.

— Всего за три дня, считая сегодняшней, примерно тысячу двести пятьдесят человек потеряли,— сказал Бондарев.— Из них человек триста убитыми...

— А немцев много убитых? — спросил Мехлис.

— Порядочно,— сказал Бондарев.— наших порядочно лежит, и их много набито. Их, пожалуй, даже больше!

— Много,— сказал Григорьев и еще раз повторил: — Много! Я тут первые два дня командира дивизии заменял, шел почти с передовыми цепями, так что навидался немецких трупов. Вот тут, за этим лесом, их навалили очень много,— показал он по карте.

— Что, сами видели? — спросил Мехлис.

— Нет, этого я как раз не видел. Это мне докладывали сегодня.

— Да, много,— сказал Бондарев,— я сегодня сам видел.

— Сколько орудий захвачено? — спросил Мехлис.

— Вчера около пятнадцати, сегодня еще не знаю сколько,— ответил Бондарев.

— А в первый день ни одного,— сказал Мехлис.

— Да, в первый день не взяли. А вообще мы их не считаем,— сказал Бондарев.

— Напрасно,— заметил Мехлис.— По количеству захваченных орудий можно определить степень успеха прорыва. Прорвались ли на артиллерийские позиции? Успевает ли противник оттащить артиллерию или не успевает?

— Это верно,— сказал Бондарев,— но мы считать не привыкли. Вот в Яслинской операции в конце концов триста пятьдесят орудий насчитали трофейщики в пользу нашего корпуса. А мы по ходу дела сами не считали.

После этого Мехлис уехал на наблюдательный пункт к Москаленко, туда, где мы были позавчера, а я остался у Бондарева. Мне хотелось поговорить с ним.

Он меня сначала не узнал. Узнал только, когда я 57

напомнил ему, где и когда мы с ним встречались. Было видно, как он устал. Еще раньше, при Мехлисе, как только вошел, сразу же сам попросил разрешения сесть.

Вошел его адъютант.

— Приготовьте что-нибудь покушать,— сказал Бондарев.

— Сейчас. Но вам уже вашу квартиру здесь поблизости оборудовали.

— Ну раз так, поедем туда, на квартиру,— сказал Бондарев, обращаясь ко мне.

— Нет, нет,— всполошился адъютант.— Минуточку! Вы лучше минут через пятнадцать... Я пойду туда вперед.

— Зачем же вам идти, возьмите машину.

— Я и пешком дойду.

— Зачем же пешком? — повторил Бондарев.

— Там еще не все готово,— сказал адъютант.

— Ну вот, так бы и сказал,— засмеялся Бондарев.— Отправляйся, проверь, а мы подождем.

Пока мы ждали, Бондарев связался с командиром одной из своих дивизий. Суть разговора сводилась к тому, что тот не решался смело идти вперед, боясь за свои фланги. Его соседи отстали, а его тыл простреливался немцами. Сначала Бондарев говорил с ним спокойно, но закончил раздраженно:

— Какое ваше дело, что у вас справа и слева? Я же не спрашиваю у своих соседей, таких же, как я: что у них там? Почему они в линейку со мной не равняются? Мне до этого нет дела, у меня свой участок. Двигайтесь, как вам приказано, и все! Выполняйте мой приказ. О том, какой будет дальнейшая ваша задача, не беспокойтесь. Вам дана задача на всю жизнь — наступать! Боится за свои фланги,— положив трубку и обращаясь ко мне, сказал Бондарев.— А у меня такая привычка, я лично никогда не смотрю ни влево, ни вправо. Учить соседей не мое дело. Как со снарядами? — обратился он к начальнику артиллерии.

— Снаряды поступают исправно.

— Ну, что ж, значит, завтра воюем,— сказал Бондарев.— Ладно, пойдемте обедать.

«Виллис» стоял метров за сто, в проулке. Мы пересекли дорогу, прошли мимо деревянной площади по раскисшему снегу и грязи. Несколько бойцов укладывали трупы в вырытые на площади могилы. На

трех могильных холмиках уже стояли деревянные пирамидки со звездами и надписанными дощечками, а несколько мертвецов, укрытых плащ-палатками, уже лежало около могил.

Хату, в которой поселился командир корпуса, еще заканчивали приводить в порядок. В одной из комнат думывались полы. Нас встретила молодая женщина с закатанными рукавами, она мыла пол. Это была жена Бондарева.

Мы прошли в следующую комнату, где все было уже чисто, и с полчаса разговаривали вдвоем на разные темы.

Разговор начался с воспоминаний о сегодняшних телефонных звонках, при которых я присутствовал.

Вызвав по телефону начальника штаба 70-й дивизии, Бондарев приказал ему позвать к телефону, чтобышний раз не связываться, находящегося там же, рядом, начальника штаба другой дивизии, не запомнил какой. Начальник штаба 70-й дивизии ответил, что придется долго ждать, сосед не так близко — метрах в восьмистах!

— Не восемьсот метров между вами и даже не семьдесят, — сказал Бондарев. — А только восемь метров! Ну, словом, какое может быть расстояние между двумя домами? Сидите оба, каждый в своем подвале, и не знаете, что у вас рядом. Залезли в подвалы, по телефонам друг с другом связываетесь, а что штаб соседней дивизии в соседнем доме, не знаете! Да, черт его знает, — вспомнив об этом, сказал Бондарев, — все ж таки люди чувствуют приближение конца войны. Придешь, подтолкнешь такого вперед, выгонишь его из-под земли, а он, глядь, опять нашел себе хоть немножко более безопасное место. Не хотят люди умирать!

Я поддакнул, что, да, конечно, к концу войны люди больше думают о смерти.

— Нет, я бы не сказал, что все время думают. В горячке об этом забываешь, — не согласился Бондарев.

— Все же в начале войны больше рисковали собой, — сказал я, подумав о себе и о своем нынешнем собственном страхе смерти.

— Да нет, как сказать, — снова не согласился Бондарев. — Вот я в этом году батальон в атаку вёл. — Он сказал это чрезвычайно просто, мимоходом. — А почему так вышло? Такая обстановка была. 59

Нужна, конечно, осторожность, притом большая. Я хотя и рискую, но с осторожностью, с приглядкой, поэтому и проносило благополучно.

Он говорил все это с какой-то такой обыденной простотой, что в нем, несмотря на генерал-лейтенантское звание и Золотую Звезду Героя, и три ряда орденских ленточек, чувствовался подо всем этим главный труженик войны — пехотинец.

Принесли обед, и мы около часу просидели за ним. Обед был вкусный, но Бондарев ничего не пил.

— Я в этом отношении стал похож на Москаленко, — сказал он. — Так иногда немножко портвейну... А вообще, почти ничего не пью. Как Москаленко-то «пьянствует», видели?

Я невольно улыбнулся, вспомнив один случай, когда Москаленко, чтобы поддержать компанию, пил шампанское из маленькой рюмки, поставленной в чашку с горячей водой. У Москаленко большое горло, и горячая вода понадобилась для того, чтобы шампанское согрелось.

— Вы всю войну на фронте? — спросил у жены Бондарева Альперт, который до этого занимался съемками, но к обеду подошел.

— Нет, у меня был перерыв — год и четыре месяца.

Наверное, рожала и кормила ребенка, подумал я про нее.

— А остальное время вместе? — спросил Альперт.

— Вместе, — сказал Бондарев. — Сама мне готовит, все делает сама.

— Да, женский глаз во всем чувствуется, — сказал Альперт.

— Это верно, — согласился Бондарев. — Она вслед за мной — сейчас не допускаю — раньше и на передовую ходила. Один раз поехала и нарвалась... По тому месту, где я был, такой огонь из минометов, что стою за стеной и думаю, вот-вот сейчас шлепнет. И уже ни о чем не думаю, только за нее волнуюсь. А тут возле самой хаты горох зеленый рос. Я говорю ей: рви горох и ешь! Что мне было еще сказать ей в эту минуту, чтобы отвлеклась хоть немного?

Жена его вела себя мило и скромно, и мне в эту минуту показалось, что хорошо, что вот она все время рядом с ним, с этим тружеником войны. И даже если бы была не жена, а просто женщина, которую он любит, все равно это было бы хорошо. Наверно, прибавляет ему душевных сил в тяжелые дни.

Мы вспомнили о прежнем командире одной из дивизий, который был у Бондарева еще на Курской дуге.

— Нет его сейчас,— сказал Бондарев,— лечиться отправили,— и показал себе на голову.

Я вспомнил этого командира дивизии, плотного, прочного, грубоватого, такого, каким я видел его на Курской дуге, и сказал, что он производил тогда впечатление выдержанного человека.

— Да, конечно, в моменты, когда поспокойнее было,— сказал Бондарев.— А в более рискованные уже не выдерживал — сердечные припадки. И плакал, и сам иногда не помнил, что говорил. Поставил о нем вопрос, чтобы его отпустили. А то и дивизию мог подвести, и себя тоже. Бывает, что иногда психика не выдерживает даже у таких, про которых никак и не подумаешь этого.

У Бондарева после обеда оставался все тот же усталый вид, и я заторопился и поднялся.

— Наверное, вы сейчас приляжете отдохнуть?

— Да нет. Устать-то устал, а отдохнуть пока не придется. Сейчас дневные донесения соберем, дам приказ о ночных действиях, пробку еще одну не расчистили, посмотрю ее. А там увидим, может быть и в самом деле удастся отдохнуть. Спал сегодня мало,— сказал он в заключение.

Мы простились с Бондаревым и поехали в обратный путь.

На деревенской площади теперь лежал всего один, завернутый в плащ-палатку мертвец. Остальные были уже похоронены.

На обратном пути в армию мы попали в пробку и уже в полной темноте долго из нее выбирались. Когда наконец выбрались, дорогу преградила подвода.

— Куда же ты едешь, черт...— стал кричать какой-то офицер, ехавший перед нами на другом «виллисе».

Повозочный с сильным, по-моему, грузинским акцентом стал горячо возражать ему:

— Я по правилам еду, товарищ офицер, я как раз по правилам еду. Возил горячую пищу на передовую, обратно по правой стороне еду, так регулировщик указал. Как положено еду, точно, согласно правил движения. Вы напрасно, товарищ офицер...

Офицер перестал на него кричать, но в эту мину-

ту навстречу подводе с левой стороны дороги вынырнула грузовая машина.

— Вот это безобразие! — возмутился повозочный. — Вот это возмутительный поступок! Почему едешь по левой стороне? Почему не держишь вправо? Почему тебя регулировщик сюда пропустил? Вы посмотрите, как он неверно едет, товарищ офицер.

Благополучно преодолев это последнее препятствие и окончательно вырвавшись из пробки, мы к ночи вернулись домой, как я теперь называю нашу комнату в политотделе армии.

МЕЖДУ ГЛАВАМИ

Печатаю сейчас записные книжки сорок пятого года, я не называю фамилии командира того мехкорпуса, у которого я был. В биографиях военных людей попадают и тяжелые дни, и тяжелые полосы. И судьба привела меня к нему как раз в такое время. Но в жизни этого человека до той неудачной полосы, которая завершилась его снятием с должности командира корпуса, была большая и трудная война, на которой он немало сделал. Если бы я рассказывал всю его биографию — и со взлетами, и с падениями, и с плохим, и с хорошим, — я бы не постеснялся назвать его имя. Но связывать подлинную фамилию только с той встречей с ним, о которой идет речь в записках, я счел несправедливым.

Эпизод этот особенно сильно врезался мне в память по контрасту со многим виденным до этого. Я писал о танкистах в разные годы войны, с разных фронтов — с Западного, Южного, с Центрального, со Второго Украинского. Видел их и в дни неудач, и в дни их успехов, все более крупных и, чем дальше шла война, все прочней преобладавших в нашей памяти. Да иначе и быть не могло. Иначе бы мы, отступавшие до Сталинграда, не воевали бы через два с половиной года после этого в центре Европы.

И, однако, эпизод с Д., свидетелем которого я стал уже весной 45-го года, тоже реальная крупница истории, напоминание о том, что война до своего последнего дня требует от людей полной отдачи сил и не прощает отступлений от этого правила.

Несколько слов о рассуждениях генерала Бондарева насчет того, что его пехота всегда шла впереди

танков. При всей их искренности в этих рассуждениях есть, конечно, и ревность и гордость пехотного начальника прежде всего за свой род войск — пехоту, которая, как ни крути, а все же на этой войне была всему основой. Есть в них и отзвук реального бывшего опыта, былой необходимости, поддерживают или не поддерживают тебя танки, все равно идти вперед — одной пехотой и любой ценой выполнять свою задачу. Ну и, наконец, есть элемент — как бы это точнее сказать? — забывчивой избирательности, что ли. Были, конечно, и у генерала Бондарева случаи, когда танки шли впереди его пехоты. Не верится, что их так уж и не было! Но в том настроении, в котором он тогда находился, он вспоминал как раз не эти, а другие случаи, более памятные для него самого в ту минуту.

И, наконец, о должности командующих бронетанковыми войсками армий и фронтов. Мои умозаключения на эту тему в записках — плод излишней молодой категоричности. Сейчас, вспоминая войну, думаю: ну, а скольких же людей, находившихся на этой должности, я практически видел за годы войны? Ну, семь, ну, восемь! Причем, по крайней мере, двое из них были люди волевые, энергичные, нашедшие себе на этой должности дело по плечу и никак не подходившие под мое тогдашнее скороспелое обобщение.

И все же в моих записях того времени, как мне кажется, есть доля истины.

Да, так до конца войны и оставалась вредившая делу неопределенность круга прав и обязанностей командующего бронетанковыми войсками и в штабе фронта и в штабе армии! Если командующий артиллерией наряду с начальником штаба армии всегда являлся как бы еще одной, правой рукой командарма, командующий АБТ, как правило, ею не был. И лишь в тех случаях, когда командующий фронтом или армией сам подчеркивал его роль, сам практически наделял его дополнительными правами и обязанностями и этот человек в силу своих личных качеств никому не переуступал полученных им прав, только тогда его деятельность соответствовала названию его должности: *к о м а н д у ю щ и й* бронетанковыми войсками.

Тут всякий раз слишком многое зависело не только от личности, но и от того значения, которое придавал командарм или командующий фронтом долж-

ности, на которой находилась эта личность. А раз так, то вполне естественно, что самые боевые, энергичные танковые командиры, как правило, не тянулись к этой должности, предпочитали ей командные посты в войсках.

А бывало, что по той же причине на эту должность нередко попадали люди опытные и заслуженные, но без командирской жилки, предпочитавшие эту многотрудную и хлопотливую, порой неблагоприятную должность тем командным постам в танковых войсках, которые связаны с постоянной прямой, личной ответственностью, когда, как в старину говорили, «или грудь в крестах, или голова в кустах».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Замиская Киниска за 14.3.45

В двенадцать часов дня мы с Альпертом на его машине поехали в Силезию, в Гинденбург.

Хотя я уже был там один раз, но только сейчас узнал, что этот кирпично-серый угрюмый город, к облику которого так кстати сегодняшней дождь и туман, что даже трудно себе представить, как может выглядеть этот город при солнце, что он еще в 1933 году был всего-навсего большой деревней, и, наверное, более, чем какой-нибудь другой город, целиком детище гитлеровского периода немецкой истории.

В этой области, где всегда жило много поляков, сейчас за них стараются сойти некоторые немцы. Даже зная всего несколько польских слов, они на всякий случай стремятся их использовать.

Разыскивая военную комендатуру, я остановился на углу улицы и подозвал к машине двух пожилых немцев.

— Комендант, — сказал я.

Они мне стали показывать руками — прямо, произносить какие-то ломаные польско-русские слова. Что надо ехать прямо, я понял: понял, что потом надо сворачивать. Но куда?

— Унд вайтер — рехтс одер линкс?

— Вайтер? — переспросил немец. — Вайтер право, — он непременно желал употребить в разговоре хоть одно русское слово.

Город цел, и нельзя сказать, чтоб пуст, но малолюден.

Мы подъехали к комендатуре. Альперт пошел узнавать, где комендант, а я увидел стайку переходивших улицу людей в званиях от лейтенанта до полковника, одетых в чрезвычайно новенькие шинели, которые они, очевидно, только что начали осваивать. У них был тот глуповатый вид, который обычно приобретает штатский человек, всего несколько дней назад влезший в военную форму, но сам в душе считающий, что уже вполне освоился с нею.

Я подумал, что, наверное, это какие-нибудь наши инженеры или хозяйственники, только что прибывшие сюда из Москвы. Я сказал об этом вернувшемуся Альперту и, как потом оказалось, не ошибся. Мы вместе с ним зашли к заместителю коменданта и застали там еще одного подполковника в точно такой же шинели, какие я только что видел на улице.

Едва я познакомился с заместителем коменданта, как подполковник воскликнул:

— Константин Михайлович, вот странная встреча!

Я вперился в лицо этого маленького подполковника. Лицо мне было очень знакомо, но где я встречал этого человека, я абсолютно не мог вспомнить.

— Не узнаете?

— Нет.

— А, хотя в этой форме, да еще тут, меня, конечно, трудно узнать. Я Филиппов, директор Театра Революции.

— Слава богу, теперь узнал, — сказал я, продолжая соображать, когда я в последний раз его видел и где — в Москве или на фронте?

— Странная встреча, — сказал он.

— Странная, — согласился я. — Давно вы здесь?

— С первого числа. Мы входим в комиссию генерала Сабурова.

Я вспомнил генерала Сабурова, одного из партизанских командиров на Украине, с которым я встречался в сорок третьем в Харькове и знал, что он теперь работает по линии госбезопасности. И, вспомнив, с некоторым удивлением посмотрел на Филиппова — почему он, собственно, перешел из театра в это ведомство?

— Это тот Сабуров, который партизанил? — спросил я его.

— Нет, — сказал Филиппов. — Это генерал Сабуров — заместитель Вознесенского по Госплану, а мы в его группе.

— Значит, это ваши люди ходят по улице в таких же, как у вас, шинелях? — спросил я.

— Наши.

— Вот про них я сразу сообразил, кто они такие, — сказал я. — А вы что здесь делаете?

— А я вхожу в эту комиссию от Комитета по делам искусств. Вот «страдивариуса» сегодня нашли.

Он показал мне на лежавший на диване ящик. Ящик был открыт, и мне была продемонстрирована старая скрипка, которая, как выяснилось, уже порядочное время лежала на складе комендатуры и лишь теперь была извлечена оттуда. На скрипке стоял какой-то год первой половины XVIII века. Не знаю, был ли это «страдивариус», но возраст скрипки внушал уважение.

Рассказывая мне о своей работе здесь за эти две недели, когда ему с чем только не приходилось сталкиваться, от страшного до смешного, Филиппов вспомнил, как они встретили вчера недалеко от Гливице нашу полуторку, в которой рядом с водителем сидела довольно большая обезьяна. Когда они остановили полуторку и спросили водителя, зачем он возит с собой эту спокойно сидевшую рядом с ним обезьяну, он рассказал следующую историю.

Наши красноармейцы расположились в каком-то имении, где среди всего другого брошенного хозяйства оказалась эта обезьяна. Развлекаясь с ней, кто-то из солдат крикнул ей «хайль Гитлер!» — и в ответ, должно быть, приученная к этому своим старым хозяином, обезьяна выкинула вперед и вверх лапу, тем самым движением, с которым фашисты кричат «хайль!». Солдатам, наверно, хлебнувшим в тот день сверх нормы, это не понравилось, и они стали кричать на обезьяну, что она фашист! Неизвестно, чем бы кончилось дело, но у водителя, как раз в это время проезжавшего мимо, что-то стряслось с его старой полуторкой, он остановился чинить ее и наткнулся на эту сцену. За пол-литра своей кровной, припасенной под сиденьем водки он выручил разагитированную фашистами обезьяну и взял ее к себе в кабину. Обезьяне

повезло. До войны этот водитель работал в каком-то из наших цирков дрессировщиком зверей.

Когда Филиппов спросил его, долго ли он собирается вот так возить с собой обезьяну, водитель ответил, что возить будет, и вот почему: если его старенькая машина опять станет ломаться и придется кого-нибудь останавливать, просить, чтоб помогли, то без обезьяны быстро не остановишь. А вот если увидят, что стоит у машины водитель, а в кабине у него сидит обезьяна, то, конечно, остановятся.

— Как вы, товарищ подполковник, — сказал он Филиппову. — Ведь вы тоже заинтересовались и остановились. А мне главное — остановить, а там уж и помогут!

Эта обезьянья история напомнила мне другую историю, которую я несколько дней тому назад услышал от Ортенберга. Я не остался в долгу и рассказал ее Филиппову.

В городе Вадовицы, заехав туда через несколько дней после прихода наших частей, Ортенберг застал на городской площади уже собранный в дорогу маленький бродячий цирк, в котором тоже была обезьяна, а кроме нее лев, тигр и еще кто-то. Несколько бойцов стояли около клетки с обезьяной и развлекались тем, что щекотали ее прутиком через решетку, наслаждаясь быстротой ее реакции: тем, как она после этого мгновенно взвивалась вверх и повисала на параллельных брусьях.

Стоявшая тут же толстуха, содержательница зверинца, стала рассказывать Ортенбергу о своих несчастьях. Во-первых, русские так быстро наступали, что она со своим хотя и бродячим, но все-таки довольно громоздким звериным хозяйством не успела уехать из города и так сидела в нем под обстрелом все время, пока за город шел бой.

Кроме того, эта хозяйка зверинца, чешка по национальности, уверявшая Ортенберга, что у нее чешский, чуть ли не национальный зверинец, жаловалась на пропажу части своего имущества. Когда после передовых частей в город въехали наши обозники, у них посреди города сломалась повозка, и они, не долго думая, реквизировали у хозяйки зверинца повозку, в которой она возила второго тигра. Повозку они забрали целиком, вместе с клеткой. А что сделали с тигром, неизвестно. Должно быть, не решившись выпустить живым, убили.

Все остальное она, правда, сохранила, с титаническим трудом убедив наших солдат, что это не немецкий, а чешский зверинец, и тогда они оставили ее и зверинец в покое. Только увезли одного тигра вместе с повозкой!

Пока мы разговаривали с Филипповым, заместитель коменданта вызвал для нас переводчицу, одну из русских девушек, угнанную в Германию из Таганрога и работавшую здесь, в Гинденбурге, два с половиной года.

Я решил поехать с ней по заводам. Но перед этим мы запаслись запиской из комендатуры и заехали с Альпертом в городскую фотографию — ему нужно было достать фотобумагу.

В фотографии снимали только по письменному разрешению коменданта и тоже по разрешению коменданта выдавали бумагу и химикалии из еще сохранившихся запасов.

Для соблюдения порядка кроме работавших в фотографии двух женщин немок там дежурил наш боец; пока мы объяснялись с немками, предъявляли им разрешение комендатуры и пока Альперт выбирал для себя бумагу, он беспрерывно включал стоявшую на антресолях радиолу и раз за разом ставил пластинку с «Интернационалом». Я так и не спросил его, с собой ли у него была эта пластинка или предусмотрительные немки сами принесли ее сюда, в фотографию? Когда я потом, уже вечером, шел в комендатуру, из-за закрытых дверей фотографии все еще доносились громкие звуки радиолы, продолжавшей играть «Интернационал».

Альперт получил свою фотобумагу, и мы поехали по заводам.

На одном из заводов производили мостовые фермы, на другом тоже мостовые конструкции. На третьем изготавливали небольшие паровозные котлы, а кроме них тросы различного сечения и сетка для траления мин; в двух его цехах работа шла полным ходом. Работавшие на заводе мужчины были все уже пожилые — от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти лет. Кроме них работало несколько инвалидов, хромых, должно быть, после ранений на фронте. Но больше всего у станков стояло женщин, и молодых и немолодых.

Я спросил у переводчицы, которая сама работала на этом заводе, когда стали исчезать с завода муж-

чины среднего возраста. Она ответила, что два с половиной года назад, когда она начала работать, мужчин уже было очень мало, и чем дальше, тем становилось все меньше и меньше. В последние полтора года мужчин призывного возраста на заводе почти совсем не было, за исключением вернувшихся с войны и признанных негодными к военной службе. В последний год на завод стали приходить работать старики пенсионеры и пятнадцатилетние мальчишки.

— А шестнадцатилетние? — спросил я.

— Шестнадцатилетних на завод не брали, они шли на военную подготовку.

Я услышал это и вспомнил снимок в каком-то из гитлеровских иллюстрированных изданий, попавший мне на глаза среди разного трофейного барахла. Под снимком была подпись: «Барабанщики нации». На огромной, очень широкой и бесконечно тянувшейся вверх лестнице стояло несколько сот мальчишек, очевидно, членов «гитлерюгенд», и било в барабаны. Они били остервенело, с решительной набыченными головами, с хмурыми физиономиями. Должно быть, их учили, что у них должны быть именно такие лица!

Рассмотрев их лица, я перелистал тогда книгу и посмотрел дату. Она была датирована 1934 годом — вторым годом прихода Гитлера к власти. И я еще раз, глядя на этот снимок, подумал тогда, что вот эти мальчишки, бьющие в барабаны, которым на этом снимке 1934 года было тринадцать-четырнадцать-пятнадцать лет, через семь лет после этого составили главные кадры вторгшейся к нам армии! По существу именно они стали главной опорой гитлеровской Германии. И если мы будем показывать потом, с чего началась война, то надо начинать именно с этого! Если эти мальчишки уже тогда били в барабаны, их потом не перевоспитаешь ничем до смерти!

Вернувшись с заводов, я решил пойти поговорить в какую-нибудь немецкую семью. Заместитель коменданта, чтобы помочь мне в этом, вызвал к себе одного из здешних немцев, по фамилии Зауэр, с переводчиком. Через пятнадцать минут они оба пришли.

Переводчик немец был старик вполне русского вида, в очках, похожий на пожилого банковского работника. Русским языком он владел не хуже меня,

без малейшего акцента и, по его словам, будучи по профессии колбасником, прожил в России несколько десятков лет.

Второй из пришедших, Зауэр, был худой, высокого роста, сильно истощенный человек со впалыми щеками и горящим взглядом. Он показался мне похожим на какого-нибудь неудачника литератора, из тех, что год за годом ходят по редакциям, мечтая добиться справедливости.

О Зауэре мне рассказали в комендатуре еще до его появления. В прошлом, по его словам, член немецкой компартии, одно время сидевший в лагерях, он сразу после нашего прихода в Гинденбург решил сам организовать тут новую германскую власть и за один день создал целую канцелярию чуть ли не с сотней чиновников и машинисток.

У коменданта были на этот счет совершенно другие воззрения. Он справедливо считал себя в тот момент единственной законной властью в городе, и вдруг возникшая другая власть в течение часа была им распущена.

Однако вопрос с самим Зауэром был неясен. Нашли подтверждение данным о том, что он действительно был в компартии и действительно сидел одно время в концлагере, и даже перед приходом наших частей не то встречался с какими-то нашими радистами, не то скрывал их...

Сейчас он один из тех людей, которые являются здесь в городе главными проводниками приказов нашей комендатуры. А в общем, во всей этой ситуации не так-то легко разобраться, как может показаться с первого взгляда. Отрицать наличие в Германии людей, ненавидевших гитлеровский режим и боровшихся с ним, значит, утверждать, что гитлеровский режим всецело и безоговорочно поддерживался всем населением Германии. Едва ли это будет верно. Не верить в то, что десятки тысяч немцев в годы пребывания Гитлера у власти сидели в концлагерях, значит, отрицать само существование этих концлагерей для немцев и гитлеровского террора, обращенного внутрь страны. Это тоже едва ли будет верно. А раз так, то такой вот Зауэр здесь, в Гинденбурге, а в другом городе другой Зауэр, быть может, и в самом деле извечный враг гитлеровского режима, работавший в антифашистском подполье?

рая, безусловно, уже начинает вестись немцами на оккупированной нами территории, будет выражаться не только в диверсионных или террористических актах, а, конечно, и в более тонких формах, в том числе в приобретении защитной окраски. Это тем более очевидно, что национал-социалистская партия до своего прихода к власти имела достаточный опыт подпольной и полуподпольной работы, да и сама с самого начала носила характер дисциплинированной военной партии.

А если так, то и к такому Зауэру закономерно отнестись с некоторым подозрением: а не представляет ли деятельность этого человека одну из форм борьбы с нами? Не могут ли являться уликой те лозунги «Да здравствует революция!», «Да здравствует всемирный интернационал!» и те красные флаги, которые вперемешку с белыми были вывешены здесь на окнах в день, когда вошли наши войска?

Сам я, в течение нескольких часов наглядевшись сегодня на Зауэра, еще затрудняюсь бесповоротно сказать, что представляет собой такой человек на самом деле. Если говорить о нем лично, то мне кажется, что он действительно ненавистник гитлеровского режима. А впрочем, бог его знает...

Когда он пришел, я объяснил ему через переводчика, что являюсь корреспондентом, что меня интересует объективная картина настроений здешних немцев и я прошу его подумать и указать мне семью не слишком богатую, но и не слишком бедную, людей, не причисляющих себя в прошлом к коммунистам, но и не состоявших в фашистской партии, и при этом по возможности такую семью, в которой сыновья на фронте, но кто-то из мужчин здесь, дома.

Зауэр долго думал, перебирая в памяти разные семьи, и наконец предложил мне на выбор три: семью доктора, семью рабочего и семью колбасника.

И я остановился на последней из трех.

Мы вошли в дом, к которому нас привел зашедший туда перед этим предупредить хозяев Зауэр, прошли через темный коридор и оказались в комнате, которая раньше, очевидно, была или комнатой работников, или одним из помещений самой колбасной. Это была большая темная комната с печкой, с двумя кроватями, между которыми был вдвинут большой стол. Все имело вид крайней бедности и разорения. Не думаю, чтобы эта комната была постоянным ме-

стом жительства хозяина, тем более что весь сравнительно небольшой, но все-таки двухэтажный дом принадлежал ему и перешел по наследству от отца. Причина того, что он встретил нас именно здесь, — доморощенная защитная окраска. В то время, как одни немцы вывешивали красные флаги, другие переселялись в комнаты своей прислуги. На кровати за столом сидел классический пивной старый немец, именно такой, каким я себе представлял именно такого вот немца с детства, с седым гинденбургским бобриком на голове, с седыми загнутыми вильгельмовскими усами, со свисавшим на усы красным, должно быть, от пьянства носом и вместе с тем с чем-то мужественным и солдатским во всей выправке, которая оставалась у него и после того, как он стал старым и толстым.

Когда мы вошли, он пил из большой белой кружки черный кофе, как мне показалось по выражению его лица, без сахара. Кроме хозяина дома, в комнате были старая толстая женщина, очевидно его жена, довольно перьяшловая, в засаленном платье, и еще одна женщина — молодая, лет двадцати восьми, в черном платье с короткими рукавами и в ночных туфлях на босу ногу. Черноволосая, со скуластым, немножко монгольским лицом. Как потом выяснилось, это была жена одного из работников колбасного заведения.

Когда мы вошли, старик встал и откозырял по-нашему, всеми пятью сложенными пальцами. Мы сели, я угостил его сигарой и, закурив сам, попросил перевести старику, что меня интересует объективная картина жизни разных представителей немецкого населения, что меня не интересуют ни его имя, ни его фамилия, и что, если я буду писать, они нигде не будут указаны, и что я прошу его откровенно отвечать на мои вопросы, которые буду задавать не как представитель оккупационных военных властей, а просто как писатель и журналист.

Несмотря на это предупреждение, старик поначалу брыкался и старался выглядеть значительно левой самого себя. Он начал с того, что был всегда против Гитлера, интересовался всегда только своим производством и выписывал только свою колбасную газету.

Когда я задал ему один из своих первых вопросов — разве он в свое время не считал справедливым

отмену версальских ограничений по Рейнскому бассейну и возвращение Германии Саарской области? — он поспешно ответил, что живет здесь, в Силезии, и интересовался только здешними, силезскими делами.

Но понемногу мне все-таки удалось втянуть его в разговор. Служил ли он в армии в первую мировую войну?

Оказывается, служил, был на западном фронте во Франции фельдфебелем; в 1917 году был отравлен газами и получил Железный крест.

Он медленно и выразительно похлопал себя по загривку: дескать, вот как, горбом достался мне этот крест.

После отравления газами он был уволен в запас. До 1919 года он торговал мясом. В 1919 году, когда умер его отец, в его владение перешли этот дом и колбасное заведение с пятью рабочими. Он в сущности был не только колбасником, но и торговцем мясом. Закупал мясо в деревнях, часть его перерабатывал на колбасу, а часть продавал в розницу в магазинчике при колбасной.

После этого я перешел к вопросам о более близком прошлом, к последним выборам в рейхстаг, к 1932 и 1933 годам.

Сначала старик только махал руками и повторял, что он против Гитлера. Ничего другого от него невозможно было добиться.

Тогда я попросил ему перевести, что вовсе не считаю фашистом каждого человека, который в свое время был в Германии за Гитлера. Что я допускаю, что Гитлер в определенный период своей деятельности в Германии принес ей ряд выгод — уничтожил безработицу, повысил уровень производства — и что, несмотря на все сделанное им в дальнейшем, я все-таки не считаю фашистами всех тех немцев, которые были им довольны в первый период его деятельности.

В ответ на это старик сказал, что если он и не был тогда против Гитлера, то оставался нейтральным по отношению к нему и не голосовал за национал-социалистскую партию. После дальнейших расспросов выяснилось, что при последнем голосовании в рейхстаг он голосовал за католическую партию центра.

— Я католик, — сказал он, перейдя на ломаный польский язык, на котором и до этого все время порывался заговорить, наверно, считая, что так я его пойму

и без переводчика. — Католик, — повторил он и перекрестился.

И я поверил, что он действительно католик и, скорей всего, говорит правду, утверждая, что голосовал не за Гитлера, а за католическую партию центра.

— Ну, ладно, — сказал я. — А когда Гитлер пришел к власти и выдвинул программу ревизии Версальского договора, как вы к этому отнеслись?

Он снова стал повторять, что он колбасник и живет здесь, в Силезии.

Тогда я еще раз повторил, что мне, как иностранцу, первые национальные требования, выдвинутые после прихода Гитлера к власти, связанные с изменением статута Рейнской области и возвращением Саара, казались тогда в сущности справедливыми. Когда я повторил все это во второй раз, это подействовало на старика, и он сказал, что да, он считал это справедливым и был доволен, когда это произошло.

Разволновавшись, он даже пошел дальше и сказал, что он приветствовал не только войну с Польшей, но и войну с Францией и был очень рад, когда Германия вернула себе Эльзас и Лотарингию.

— Но потом я уже не верил, — сказал он.

— Во что вы потом не верили?

— В то, что все и дальше будет хорошо.

— Почему?

— Я старый солдат!

Он несколько раз подряд повторил, что он старый солдат и именно поэтому не верил!

— Но почему же вы все-таки не верили? — спросил я.

Он помолчал, взял в руки кружку с водой и налил на стол небольшую лужицу.

— Вот Германия, — сказал он. — Она не может разлиться во весь стол. Слишком много было всего взято, говорю это как старый солдат!

Очевидно, ему самому нравилось говорить о себе, что он старый солдат, и одновременно казалось, что эти слова возбуждают наше сочувствие.

Я перешел от политики к его личным хозяйственным делам, к тем переменам, которые произошли в них в связи с приходом к власти Гитлера.

Судя по ответам старика, картина выглядела примерно так: Гитлер сразу же после прихода к власти стремился ликвидировать «ножницы» в ценах между

сельскохозяйственными продуктами и промышленными товарами.

Одновременно с этим определенным образом регулировались продажные цены на мясо и мясные изделия, в результате прибыль при определенном и неизменном размере колбасного производства составляла примерно около 25 % без сколько-нибудь значительных колебаний.

Я спросил старика, сколько прибыли он получал раньше, до этого.

Он ответил, что около 30 %. За этим ответом почувствовалось его первое осязаемое недовольство Гитлером. Но, судя по дальнейшему разговору, я понял, что некоторое ухудшение в коммерческих делах понималось стариком как ухудшение только временное. И именно так трактовалось это и сверху. В этом-то и состояла сила агитации Гитлера.

Если он проводил некоторую уравнительную систему заработка, то он утверждал, что это временно и что это нужно в целях наилучшей подготовки страны к реваншу.

Если он нормировал цены, то утверждал то же самое.

Если жизненный уровень при этом не повышался, а, наоборот, понижался, то выдвигался лозунг: «Пушки вместо масла». А за этим лозунгом стоял второй, не выраженный с такой прямотой публично, но достаточно крепко вколоченный в головы, что те самые «пушки вместо масла», о которых идет речь сейчас, принесут вам масло впоследствии!

Предлагалось не вообще терпеть, не вообще идти в лагеря трудовой повинности, не вообще трудиться на благо отечества, а делать все это ради подготовки к реваншу, который впоследствии должен обогатить всю немецкую нацию в целом!

И такой фашизм, каким я его теперь себе представляю, был в плане социальной демагогии гораздо более серьезным и опасным явлением, чем это в свое время казалось мне на университетской скамье.

Немцам перед всей той серией войн, которые они начали, было обещано, что после этих войн они будут богато жить.

До начала войн внутри страны их натравливали на еврейский капитал и вообще на евреев. Были отобраны еврейская промышленность, еврейская торговля, еврейские дома, еврейские сбережения. Причем

какая-то толика этого, безусловно, перепала и так называемому простому народу.

Но в сущности по этой же самой системе было спланировано впоследствии обращаться вообще со всем завоеванным миром.

Фашизм не уничтожил капитализма внутри страны и, таким образом, не улучшил положение трудовой части народа за счет перераспределения богатств внутри нации. Но завоеванное за пределами страны было обещано распределить.

И какая бы большая доля в ходе этого завоевания ни попадала в карман господствующей верхушки, все равно изрядная доля, и это надо признать, потому что иначе не понять популярности гитлеровского фашизма в Германии, все-таки попадала в руки германской нации в целом.

Если, допустим, концерн «Шкода» попадал в руки концерна Геринга и трудовая часть населения Германии от этого не имела осязаемых преимуществ, то скот, хлеб, масло, сало, которые шли в Германию с Украины, ели, конечно, не только капиталисты, а земельные наделы в Польше получали не только помещики.

А в общем, Гитлер пытался свести на нет социальные проблемы внутри страны, возмещая трудовым элементам немецкой нации за счет завоеванного и награбленного то, что они недополучили у себя дома. Гитлер добивался того, чтобы все лишения, связанные с подготовкой к войне, утвердились в сознании немцев как лишения временные. И чтобы проблемы избавления от этих лишений, проблемы улучшения жизни оказались для них связанными только и единственно с успешным исходом войны.

Именно так в гигантских масштабах целого государства все его население от поисков лучшей жизни при помощи решения внутренних социальных вопросов повертывалось к поискам лучшей жизни путем решения вопросов национальных и территориальных, притом самым агрессивным путем.

Допустим на минуту невозможное — Гитлер завоевал всю Европу и победил нас. Если бы это невозможное случилось, то за счет введения неорабовладельческого строя несколько десятков миллионов немцев независимо от их собственного положения внутри собственно немецкого государства были бы поставлены по отношению к сотням миллионов людей дру-

гих национальностей в положение господ и, прямо или косвенно, рабовладельцев.

И эта идея осенью 1941 года казалась очень многим в Германии близкой к практическому осуществлению.

Все, что я до сих пор слышал и видел на войне, говорит мне о том, что гитлеровская пропаганда вся, от начала и до конца, построена на эксплуатации всех самых грубых и темных инстинктов, живущих в человеческой душе. Во все эти уголки человеческой души, в которые можно было бить наверняка, Гитлер бил, и бил очень точно.

Безусловно, отнюдь не всякий немец был сторонником расовой теории. Но, чтобы разобраться в происшедшем, представим себе такую абстрактную ситуацию. Возьмем население какого-нибудь города и объявим, что все, кто живет на любой его улице в доме номер пять и в домах с номерами, кратными пяти,— есть самые лучшие люди на свете, которым все позволено, которые должны господствовать и которым все остальные жители всех остальных домов должны подчиняться, отдав им все свое имущество или большую часть его.

Если мы назойливо будем повторять это людям, живущим в домах с номерами пять и кратными пяти, если мы будем повторять это им год, два, три года и при этом внедрять в них, что если они поверят в эту теорию господства и поддержат ее, — им будет дана практическая возможность в конце концов подчинить себе всех людей, живущих во всех домах с другими номерами, то низменные человеческие инстинкты в конце концов могут возобладать. Под влиянием этой пропаганды господства жители домов под номерами пять и кратными пяти могут почувствовать себя вправе при помощи вооруженной силы подчинить себе людей, живущих в других домах, уже убежденно считая себя к этому времени высшими существами по отношению к ним.

Так в этой придуманной мною абстракции выглядит для меня история того, что произошло в Германии при Гитлере.

Этому способствовали и некоторые психологические причины. Вспоминая всю войну, все документы убитых немцев, которые я в разное время видел, я вспоминаю, что среди рядовых немецких солдат было очень большое количество сыновей крупных промыш-

ленников, торговцев, владельцев магазинов, больших предприятий и так далее и тому подобное. Как раз в этом отношении, если говорить о стране в целом, было установлено достаточно жесткое равенство, которое при этом, безусловно, еще на двести процентов преувеличивалось пропагандой.

Эта усиленная пропаганда внешнего равенства, равенства прав и усилий внутри немецкого государства, была в одну точку. Гитлер хотел, чтобы германская нация ощущала себя единым целым и как целое отвечала за все, ею сделанное. Все это умещалось в несложной формуле: «Кем бы ты ни был, рабочим или капиталистом, ты равно несешь материальные потери, готовясь к войне, ты равно даешь на эту войну своих детей и равно теряешь их на ней. Ты равно рассчитываешь на благополучие после победоносного окончания этой войны и, как ее равный участник, равно будешь уничтожен в случае проигрыша».

Гитлер стремился к тому, чтобы германская нация в целом ощущала себя как высший и эксплуатируемый класс по отношению ко всем остальным нациям, с которыми она вела войну.

В итоге первых лет германская нация в целом и оказалась до известной степени таким классом — эксплуататором по отношению к завоеванным и эксплуатируемым ею народам Европы.

Все это пришло мне в голову, пока мы разговаривали со старым немецким колбасником.

Я уже писал, как он, расчувствовавшись, одобрительно вспоминал о завоевании Эльзас-Лотарингии, но при этом твердо стоял на том, что, начиная с войны против России, он перестал одобрять внешнюю политику Гитлера.

После того как он несколько раз повторил это, я напомнил ему речь Гитлера, которую тот сказал при объявлении нам войны, утверждая, что эта война с Россией — вынужденная, превентивная война, и если бы он ее не начал сейчас, через несколько месяцев ее начала бы сама Россия.

Я спросил у старика, верил ли он этим словам Гитлера тогда.

Он сказал, что нет, не верил.

Я спросил почему.

Он снова стал повторять, что он старый солдат, и, как я его дальше ни спрашивал и так и эдак, он так

и не смог мне объяснить, почему он не поверил тогда Гитлеру, что эта война с Россией превентивная.

Думаю, что он отчасти кривил душой, осторожничал. Но помимо осторожности, когда он начинал вспоминать прошлое, над ним довлел обратный ход мыслей. Он невольно говорил сейчас с позиций человека, жившего в городе Гинденбурге, оккупированном русскими; человека, который стал прямым свидетелем крайне неблагоприятного для Германии хода, казалось бы, столь удачно начатой ею войны. Сейчас ему искренне казалось, что эту войну не надо было и начинать.

Слушая его и пробуя себе представить, как смотрели на этот вопрос немцы не сейчас, а тогда, в сорок первом году, я подумал о двух крайних точках зрения.

Только немец, который абсолютно никогда не был одурманен Гитлером, немец, который не поддался ни на расовую теорию, ни на теорию государства господ, ни на теорию владычества над миром, тот немец, который сознательно не желал жить хорошо за счет установления рабовладельческого строя в остальной Европе, только такой немец мог сознательно и последовательно быть против начала войны с Россией так же точно, как и против начала всякой другой войны, затеянной Гитлером, а также против самого Гитлера и всего с ним связанного.

И вторая, крайняя, точка зрения: немец, который сказал «а» и, пойдя за Гитлером, завоевал Чехословакию, завоевал Польшу, завоевал Францию, должен был сказать «б», сказать — фюрер делает правильно, когда он нападает на Россию. Он, разумеется, мог при этом считать, что фюрер напал на Россию слишком рано или слишком поздно, у него могла быть дрожь в коленках, могло быть сосание под ложечкой от перспективы, что его лично могут убить на этой войне. Но в принципе он должен был одобрить действия Гитлера. Не только потому, что Россия полней, чем все другие государства, утверждала воззрения на существование человечества, полярно противоположные воззрениям государства господ, но еще и потому, что, какова бы ни была Россия, само существование мощной и незавоеванной России рядом с завоеванной Европой означало для гитлеровской Германии то опасное положение, когда «а» сказано, а «б» еще нет.

Эти или приблизительно эти мысли бродили у меня в голове, когда я сидел в этой немецкой квар-

тире и разговаривал с немецким стариком. И оттого ли, что я разговаривал с ним мягко, оттого ли, что я считал справедливым изменение статута Рейнской области и возвращение Германии Саара, оттого ли, что он в компании со мной выкурил целых три сигары, он становился все более откровенным и отвечал мне все с большей готовностью.

Откровенность его дошла до того, что он без всякого стеснения сказал мне, что конец сорок первого, весь сорок второй и большую часть сорок третьего года он в основном работал на украинском скоте и при этом с некоторой укоризной добавил, что скот был мелкий. Я не понял и спросил, что это был за скот — овцы или свиньи? «Нет,— сказал он,— свиньи и овцы шли в Берлин, а у нас перерабатывалась говядина. Но это был мелкий скот. Крупный рогатый скот, но мелкий».

Наверно, если бы я стал его расспрашивать об этом в начале нашего разговора, то хоть клещами вытягивай, все равно он не признался бы мне, что работал на украинском скоте.

А я сидел напротив этого немца, смотрел на него, как до этого не раз смотрел на других, смотрел и не знал, что же с ним делать. Сейчас у меня это главное чувство. На каждого из немцев порознь я как-то, очевидно по свойствам своей души, смотрю без особой ненависти; смотрю, как человек на человека. Но как только я начинаю думать надо всем тем, что не только произошло, но что могло бы произойти в том случае, если бы им удалось нас победить, я снова и снова недоумеваю: что же с ними, в самом деле, делать? Как же с ними быть? Оставить их такими, какими они были при Гитлере, безусловно, нельзя. Так что же делать?

Вот я ходил сегодня по заводам, смотрел на старых немецких рабочих. Тощие, усталые, грустные шестидесятилетние люди. И уж они-то сами по себе, конечно, не возбуждают у меня чувства ненависти. Но как быть с мыслью, что эти же самые люди своим трудом помогали Гитлеру, хотевшему превратить нас в скотов?

Вздором было бы, конечно, считать, что сами немцы потеряли все человеческое. Вовсе нет. У них в абсолютной сохранности все нормальные человеческие чувства по отношению к своим, к немцам. И среди них, наверное, не больше садистов или прирож-

денных убийц, чем во всяком другом народе. И среди них достаточное количество добродушных, сентиментальных, мягких людей. Но все это проявляется по отношению к людям, то есть к немцам. И в этом-то и заключается самое страшное — они за годы войны мысленно поставили нас вне пределов действия человеческих законов. Никто не назовет садистом или убийцей человека, который из восьми родившихся у суки щенят потопит шесть. Но в фашистской Германии попробовали перенести эту процедуру на нас, на человечество, расположенное за ее границами. И я думаю о том немце, который с нами, людьми других наций, поступал, как с этими щенками, и перетопил бы всех, кого считал нужным, если бы победил. А сейчас он лишен этой возможности. Почва фашизма выбита у него из-под ног, и он опять кажется мне вполне нормальным человеком. Но в то же время хочу и никак не могу отделаться от чувства: а вдруг, если бы он и сейчас мог, он бы и сейчас перетопил?

Вот и спрашивается, что же, в самом деле, делать с ними теперь?

К концу вечера, когда я стал прощаться, старик расчувствовался и пожалел, что не может угостить меня коньяком. Перед этим я расспрашивал его о сыновьях. Старший, не успевший окончить медицинский институт, был фельдшером на Восточном фронте. Его убили в июле 1944 года под Витебском. Младший, так же, как и отец, по профессии колбасник, служил сейчас солдатом где-то на Рейне. Оба раз в девять месяцев приезжали в отпуск.

— Что же они рассказывали вам о войне? — спросил я.

Старик махнул рукой.

— Мой старший сын был такой же спокойный, как и вы, господин офицер. Он, когда приезжал в отпуск, все сидел, положив руку под щеку, вот так. — И старик показал, как сын подкладывал руку под щеку. — А когда я его спросил, чтобы он рассказал мне, как там у них, он отвечал мне: «Отец, ты же сам солдат, зачем ты мне задаешь идиотские вопросы?»

Слева от старика на сундуке сидела его жена с седыми волосами, с обрюзгшим, но сохранившим следы красоты лицом и, сложив руки на животе, все время пристально, с тревогой смотрела на него. Она все время боялась, чтобы он не сказал чего-то такого,

чего нельзя было говорить. И только постепенно мирный тон нашего разговора заставил ее лицо потерять свою первоначальную напряженность.

Но как бы мирно ни выглядела наша беседа, все-таки я почувствовал, как хозяйева облегченно вздохнули, когда я поднялся и, поблагодарив старика за откровенную беседу, сказал, что уже поздно и что я не хочу беспокоить его дальше, поговорим когда-нибудь еще в следующий раз.

Старик поднялся и, снова пожалев, что не мог угостить меня коньяком, сказал, что в следующую нашу встречу все-таки как-нибудь найдет коньяк, и, прощаясь, на этот раз откозырял уже по-немецки — двумя пальцами!

МЕЖДУ ГЛАВАМИ

Перечитывая свои записи о немцах, я несколько раз испытывал желание задним числом вторгнуться в текст то одного, то другого своего тогдашнего рассуждения и сразу же сказать о тех переменах в моих чувствах к немцам, которые произошли за эти годы.

Соблазн был тем больше, что я представил себе, как эту книгу будут читать не только мои соотечественники, но и немцы. И среди них люди, которых я за четверть века привык считать не только своими друзьями, но и соратниками по общему делу.

И все же я удержался от соблазна. Пусть все-таки останется зафиксированным то, что думал о Германии и о немцах тогда, в марте сорок пятого года, двадцатидевятилетний человек моего поколения.

Я позволил себе сказать «мое поколение», потому что, если исключить, в общем-то, редкую профессию писателя, во всем остальном я был вполне типичным представителем этого поколения: в первую и вторую пятилетки, подростком и юношей, — работа на производстве, потом одновременно с работой занятия в вечернем вузе, потом первое военное крещение в далекой Монголии — японцы, потом, в сорок первом, — немцы; и три с половиной года на фронте.

На рубеже двадцатых — тридцатых годов многие комсомольцы носили у нас юнштурмовскую форму, и я тоже помню ее на своих плечах. Она пришла из

Германии Тельмана. На демонстрациях вместе с нашими революционными песнями — песни Эйслера: «Заводы, вставайте, шеренги смыкайте...» Тревога за то, что происходит в Германии, и вера, что фашизм все-таки не придет к власти. Потом песни Буша, «Болотные солдаты», восхищение храбростью немецких антифашистов в немецком подполье и на полях сражений в Испании. И надежда, чем дальше, тем все больше слабеющая, что фашизм в Германии — это ненадолго, что его взорвут изнутри.

И, наконец, война. Немцы под Москвой. Немцы под Сталинградом.

В декабре сорок первого я увидел первых повешенных немецкими солдатами крестьян, мужчин и женщин. А в начале сорок второго увидел керченский ров — первые на моей памяти тысячи расстрелянных немцами людей. В январе сорок третьего в первый раз услышал о том, что у немцев есть такие «газмашинен» — душегубки. В ноябре сорок третьего был на процессе в Харькове, на котором приговорили к повешению трех немцев, руководивших работой этих душегубок, и русского, сидевшего в одной из них за рулем. В июле сорок четвертого первым из военных корреспондентов побывал у еще не остывших печей Майданека и увидел полтора миллиона пар обуви, снятой с убитых мужчин, женщин и детей. В феврале сорок пятого ходил по Освенциму.

А в марте разговаривал с немцами в оккупированном нами Гинденбурге и, пытаясь понять, как же все это вышло, и недоумевая, как же быть с немцами дальше, вел для памяти записи, которые сейчас, спустя много лет, местами кажутся мне жестокими и чрезмерными в своих обобщениях, порой чрезмерными до несправедливости. Но так это было тогда в моей душе и в моем сознании. И не только в моем. В этом-то все и дело. Все то страшное, что мы пережили на войне, все то страшное, что было сделано фашистской армией и фашистским государством на нашей земле, и не только на нашей, что мы видели своими собственными глазами, прочно вошло в сорок пятом году в наше сознание и имело тогда огромное влияние на наши взгляды на немцев и Германию.

И чтобы понять, какой путь пройден с тех пор от наших, а в данном случае от моих тогдашних взглядов, представлений и чувств до нынешних, надо вес-

ти отсчет именно оттуда, только тогда можно представить себе всю психологическую трудность в постепенном изменении этих взглядов и этих чувств, в которых — в данном случае, повторяю, говорю о себе — присутствовало прямолинейное неумение расчленить для себя то сложное социальное понятие, которое стояло за словом «немец».

Все пережитое за войну мешало мне тогда сделать это. Да и сама война была еще не окончена, она еще продолжалась...

Думаю, что все это важно представить себе не только нам самим. Вот почему я удержался от соблазна исправлений написанного тогда. Это слишком упростило бы проблему.

И отдельно о двух местах в моих записях.

Я не до конца, точнее, не до самого конца верил тогда, в марте сорок пятого, Зауэру, считал логичным предполагать, что национал-социалистская партия уже начала и будет продолжать вести на оккупированной нами территории подпольную борьбу, включающую и такие формы, как мимикрия. А значит, все может быть!

Я не был пророком и не знал, что до полного разгрома фашистской Германии осталось всего пятьдесят пять дней. И что то фашистское подполье, о котором я думал, в сколько-нибудь широких масштабах практически не успеет возникнуть.

Не знал я, да и не мог знать тогда и другого — масштабов той ожесточенной борьбы, которую бесстрашно вели против диктатуры топора внутри самой Германии немецкие антифашисты. Я не слышал тогда ни о героизме «Красной капеллы», ни о дерзкой деятельности группы Шульце Бойзн — Харнак, ни о многом другом, о чем мы впервые услышали несколькими годами позже.

Вспоминая сейчас Зауэра и думая о той огромной работе, которую впоследствии проделали такие, как он, люди, создавая новую, демократическую Германию на развалинах фашистской, я не хочу задним числом каяться в своем тогдашнем неполном доверии, но хочу наряду с этим сказать о том чувстве глубокого уважения и доверия, которое постепенно, с годами возникло у меня к ним. Именно с годами. Это и будет полной правдой.

Думаю еще над одной фразой в своих записях — 84 о том, что мальчишек, бивших в 1934 году в бара-

баны, потом уже до смерти ничем не перевоспитаешь!

К счастью, я и тут не оказался пророком. Среди моих нынешних немецких друзей, людей моего поколения, есть не только сын эмигранта-антифашиста, в сорок четвертом году в форме советского лейтенанта шедший под немецкие пули с рупором в руках, спасая жизнь окруженных немецких солдат, но есть и сбитый в сорок втором году под Ленинградом стрелок-радист с немецкого бомбардировщика, окончивший в плену антифашистскую школу и ставший в конце концов коммунистом,— один из тех самых мальчишек, которые били в 1934 году в барабан...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Затская книжка за 16.3.45

Попалось в руки несколько стихотворений, посланных с фронта в тыл и переписанных для себя любителем стихов из военной цензуры. Два из них по своему интересны, и, пожалуй, стоит их переписать.

В ПОЛЕВОМ ЛАЗАРЕТЕ

Ночь прошла в полевом лазарете,
Где дежурили доктор с сестрой.
В полумраке весеннем рассвета
Умирает от раны герой.

Собирает он все свои силы
И диктует сестре, что писать,
Знает, ждет его скоро могила,
Но не хочет родных огорчать.

— А вы маме моей напишите,
Что я скуку хочу разогнать,
Что я, раненный в правую руку,
Не могу ей письма написать!

Вот рассвет завиднелся в окошке,
Сестра шипит и плачет сама.
Те страницы слезами намокли,
Где прощальные эти слова.

Ночь прошла в полевом лазарете,
Где дежурили доктор с сестрой.
В полумраке весеннем рассвета
Уже умер от раны герой.

СМЕРТЬ ТАНКИСТА

Машина по земле вертится,
Осколки сыплются на грудь.
Прощай, родная, не волнуйся
И обо мне навек забудь.
Мотор уж пламенем пылает,
И башню лижут языки,
Судьбы я вызов принимаю,
Ее пожатие руки.
Нас извлекут из-под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
Проводят нас в последний раз.
И телеграмма понесется
Родных, знакомых известить,
Что сын их больше не вернется
И не приедет погостить.
В углу заплачет мать-старушка,
Слезу смахнет с усов отец,
И дорогая не узнает,
Каков танкиста был конец.
И станут карточки пылиться
На полке позабытых книг.
В танкистской форме при погонах,
Но он ей больше не жених.
Прощай, Маруся дорогая,
И ты, К. В., братишка мой,
Ведь я вас больше не увижу —
Лежу с разбитой головой.

Сегодня с утра работал, а около часа поехал на наблюдательный пункт к Москаленко. Сначала заехал на прежний наблюдательный пункт, с которого видел начало наступления, но оказалось, что Москаленко и Епишев сегодня с утра перебрались оттуда в Павловицы.

Вчера кинохроникеры, вернувшись из этих Павловиц, рассказывали, что их и бомбят и обстреливают — в общем, там чуть ли не ад крошечный. Но день на день не приходится, и сегодня, против моего ожидания, там оказалось тихо и спокойно. От времени до времени бухали немецкие снаряды, но разрывы были не ближе, чем за километр.

Наблюдательный пункт в небольшом, видимо, старинном помещичьем доме. Верней сказать, это сейчас уже не наблюдательный, а передовой командный пункт, потому что наблюдать отсюда ничего нельзя.

В доме, должно быть, жило несколько поколений охотников и лошадиников. На стенах навешано огромное количество рогов: маленьких — диких коз и боль-

ших — оленьих. На тщательно выскобленных лобовых костях даты выстрелов. По большей части даты начала века, до первой мировой войны: 1909, 1910 и 1912-й.

В передней, где дежурят шоферы и ординарцы, развешано несколько старинных гравюр. Виды швейцарских озер, старинный зимний пейзаж маслом и в золоченой овальной раме большой портрет пастелью, наверно, жены или дочери какого-то из бывлых хозяев — молодой женщины с пышной прической и капризным выражением миловидного лица.

В кабинете, как и всюду, где на время устраивается Москаленко, жарко натоплено. По стенам висят старые дагерротипы, слегка подкрашенные и похожие на акварели. На них кровные скаковые лошади и наездники в немецких офицерских мундирах. Под дагерротипами стоят сначала имя лошади, потом ее порода, а потом уже, на третьем месте, имя, фамилия и чин наездника. На нескольких дагерротипах какой-то граф фон Рок. Рядом с дагерротипами акварель — дерби в Лондоне.

Москаленко пребывает в настроении человека, которого постигла неудача и который не скрывает от себя этого и, кажется, считает в душе дальнейшее наступление на прежнем направлении бесперспективным, но при этом не отчаивается и сохраняет присутствие духа. В таком настроении люди обычно, если позволяют обстоятельства, стараются говорить о чем-нибудь другом, не относящемся к тому делу, которое их мучает.

Епишев и Ортенберг поддерживают тон разговора, взятый Москаленко. Вспоминают 1941, 42-й и 43-й годы. Разговор почему-то заходит о мостах. Москаленко, который в сорок первом году командовал корпусом, вспоминает, как он основательно минировал и впоследствии взрывал при отступлении все мосты, оставшиеся у него позади. Разговор этот начинается с недавнего захвата американцами немецкого моста возле Ремагена.

— Я к ним и электрические заряды подводил, — говорит Москаленко, — и механические, и фашинами их обкладывал, и горючим заливал, и бензином, и нефтью. Штука, конечно, опасная, но зато надежно. Когда я один мост через Днепр взорвал, ко мне пришел Никишев (как выясняется, он говорит о том Никишеве, который был на Халхин-Голе членом

Военного Совета у Жукова, а потом стал членом Военного Совета 5-й армии и погиб под Киевом). Приезжает и говорит: «У нас на той стороне три батальона осталось. Расстреляем тебя за то, что ты мост взорвал». А я говорю ему: «Да, три батальона осталось, но мне самое главное было немецкие танки не пустить, а их уже четыре штуки было на мосту, когда я взорвал его». Так и кончился наш разговор с ним ничем после того, как я сказал про танки. Увидел их на мосту и взорвал его. А батальон... Да, конечно, часть на лодках успели, а другие погибли.

— Почему погибли? — говорит Епишев. — Многие из них хотя и в окружение попали, но живы остались.

— И потом еще в Винницкой операции в составе нашей же армии участвовали, — говорит Ортенберг.

— Ну, конечно, — говорит Епишев. — Москаленко тогда двойную цель преследовал: и мост взорвал, не пустив танки, и вдобавок еще там себе пополнение из бывших окруженцев для Винницкой операции подготовил за два года вперед.

После этого заходит разговор о мосте через реку Оскол возле Купянска. Москаленко признается, что там он перестарался и заложил в мост запалы слишком рано. И когда немцы бомбили и попали одной бомбой прямо в мост, то запалы от детонации сработали, и мост — в куски.

— А мы потом еще долго оборонялись. Пришлось новый мост наводить, — говорит Москаленко. — А когда еще один мост я взорвал, мне вдруг особысты доносят: мол, по вашим сведениям, мост взорван, а по нашим, немцы по нему переходят. А у меня при себе план Генерального штаба, какие мосты и как взрывать. В том числе этот. Я и взорвал в соответствии. Ну, а раз так, рассердился и стал в дальнейшем взрывать уже начисто, чтобы ничего не осталось. А все-таки, надо сказать, предусмотрительно у нас действуют! Бывало, рвешь мост, а при этом контрольный чертеж составляется, инженеры после этого все мостовое оборудование, фермы готовят, дублируют. И это еще ведь в сорок первом году было!

С мостов разговор переходит на танки. Епишев рассказывает, как летом сорок первого года на Харьковском тракторном заводе спешно изготовили несколько сот так называемых Т-60. На шасси трактора ставили сорокапятимиллиметровую пушку, прикрывали ее колпаком из десяти миллиметровой брони.

Правда, трактор после покрытия броней грелся и не мог идти больше четырех километров в час, пушка имела горизонтальный обстрел только в 13 градусов, а вертикального движения вообще не имела, но все же это была первая попытка создать нечто вроде самоходного орудия.

С Харьковского тракторного перескочили на Сталинград, на разные тогдашние обстоятельства. И Ортенберг сказал, что Хрущев высоко отзывался при нем о Еременко, о его участии в Сталинградской обороне. И о том, как потом, уже во время наступления, Еременко шел вперед, иногда обгоняя оставшиеся в тылу немецкие части и массированно сосредоточивая в самых трудных местах артиллерию.

— Это верно,— сказал Москаленко.— Еременко умел рисковать. Даже когда противник сильно наступает, бьет нас, а Еременко все равно не поворачивается спиной, контратакует. И в наступлении рискованно действовал, и артиллерию рискованно вперед гнал, массировал ее. Рисковал, всем рисковал. Вот Жуков, тот нет... Тот не рискует никогда, у того все точно рассчитано. А если наступление в течение трех дней не получается, откладывает, не упорствует. Новая подготовка, и все заново!

Все эти воспоминания от времени до времени прерывались телефонными разговорами. Некоторые из них я наскоро записал в блокнот.

— Товарищ Жуков,— почти ласково говорит Москаленко по телефону командиру корпуса,— ну вот, сегодня первый успех как раз у вас.

В этих словах — первый успех — слышится подбадривающая интонация, предполагающая, что в корпусе у Жукова сегодня вслед за первым будут и последующие успехи.

— Свяжитесь с авиацией. Сейчас же свяжитесь и скажите им, чтобы они Рубау бомбили. И чтобы не вообще Рубау — они любят вообще бомбить,— а чтобы оборону бомбили, где мельница, где немцы сидят! — Москаленко отрывается от телефона и обращается к Епишеву: — Вот Жуков рассказывает, что у него сегодня в шести атаках дело доходило до рукопашной.— Москаленко смеется.— Брешет! Кто ему поверит, что в современной войне шесть раз за день рукопашную переходили?

После этого он звонит начальнику штаба армии Воробьеву.

— Вызовите авиацию. Все сделайте, чтобы скорей вызвать авиацию. Но только чтобы она мне не город, не старух и стариков бомбила, а немецкий передний край. Чтобы бомбила конкретные цели, а не каких-нибудь немецких богаделок в тылу.

Один из командиров корпусов докладывает по телефону, что продвинулись, подошли к болоту и озерам.

— Ну вот через это болото вам и надо внезапно захватить мосты все, какие там есть,— говорит Москаленко.— Совсем как англичане и американцы, только они через Рейн захватили, а мы с вами через Пщинку, через болота.

Он звонит кому-то еще. Начальник штаба докладывает о своем командире, что тот болен.

— Больной,— положив трубку, недовольно говорит Москаленко.— Командующий армией его вызывает, а он велит по телефону сообщить, что он больной. Что же он, смертельно больной? Нет, не смертельно. А раз так, то это уж, по меньшей мере, хамство? Разве, если я в состоянии языком ворочать, позволю себе сказать командующему фронтом, что я больной? Да вдобавок не сам сказать, а чтобы это ему от моего имени по телефону передавали! Ну как, крепко они из «ишаков» по вас выпалили? — спрашивает Москаленко вошедшего артиллериста.

Как выясняется, он называет «ишаками» немецкие тяжелые метательные аппараты, которые солдаты окрестили «ванюшами». Москаленко считает, что их грохот похож на рев ишаков.

Поговорив с артиллеристом, он звонит командующему воздушной армией.

— Здравствуйте. Вот я тут в грязи толкусь, а ты на асфальтовой дорожке сидишь. А мне не помогаешь.

В разговор с командующим воздушной армией вступает только что подъехавший Петров. Он подробнейшим образом объясняет по телефону, как именно надо бомбить выемку от реки до опушки роци.

— Взрывайте у них все вдоль железной дороги. Там у них и пулеметы, и минометы стоят, и танки, и самоходки, и пехота. Но только не так посылайте свою авиацию, чтобы покрутилась да улетела. А прямо нацеливайте ее на эту выемку, чтобы она вдоль всей выемки на этом участке прошла на высоте не более двухсот пятидесяти метров. И чтобы с самого

начала все рассчитала, чтобы с точными интервалами через каждые сто метров свой груз сбрасывала. Вот тогда будет толк!

Петров, несмотря на неудачу дня, приехал в возбужденном и повышенном настроении. Он только что перед этим вернулся с рекогносцировки. Изучал тот участок в полосе фронта, который до сих пор не привлекал особого внимания ни с нашей, ни с немецкой стороны.

Этот участок, и по мнению Москаленко, еще раньше тоже побывавшего там с Епишевым, у немцев слабо прикрыт. Петров, согласившись с предложением Москаленко, собирается неожиданно в ближайшие дни нанести здесь удар, вплоть до последней минуты делая при этом вид, что наступление продолжает идти на прежнем, с самого начала избранном направлении.

Петров сидит и рассказывает все подробности своих наблюдений на этом облюбованном им участке: как там проходят дороги, какой там сейчас грунт на полях. Он специально ездил пробовать этот грунт.

— «Виллис» только в некоторых местах вязнет на пахоте, а в общем, проходит.

Он показывает по карте, откуда и до какого места немцы просматривают подходящую с нашей стороны к передовой дорожку, и попутно дает распоряжение поставить на том отрезке, который просматривается немцами, шлагбаумы для регулирования движения и повесить маскировочные сетки.

— За тринадцать дней немец бросил туда, на этот участок, всего одиннадцать снарядов,— говорит Петров.— Я все исходил там пешком. Подступы с нашей стороны исключительно удобные. Правда, от немцев с кургана просматривается к нам вглубь довольно далеко, но мы завесим сетками и затрудним им наблюдение. Но вот по этому отрезку шоссе, который нужно завесить, я сейчас специально проезжал взад-вперед прямо на «виллисе». Не обстреляли. Видимо, там у них сейчас всего одна-две батареи, и они не придают этому участку никакого значения. Прекрасный участок, прекрасный,— еще и еще раз повторяет Петров с таким удовольствием, словно речь идет о какой-нибудь давно издали любимой и наконец-то выбранной в жены девушке.

В том удовольствии, с которым он рассказывает об этой своей рекогносцировке и о разных ее подроб-

ностях, о том, как какие-то наши обозники преспокойно ездят за сеном в ничейную зону между нашими и немецкими окопами, и о том, как какой-то ошалевший от весны, что ли, боец где-то в этой же зоне на виду у немцев резвится, катаясь по льду на велосипеде,— во всем этом кроме профессиональной военной заинтересованности в том, чтобы этот будущий участок наступления не обманул ожиданий, у Петрова присутствует еще и какая-то неподдельная юношеская живость чувства. По-моему, на него, как и на других людей, оказывает сегодня влияние первый чудесный солнечный день. Такой день располагает к хорошему настроению, заставляет верить в удачу. Что бы там ни было до этого, все равно верить...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Записная книжка за 17.3.45

Наступление на Четвертом Украинском пока приостановлено. Утром мы выехали с Альпертом из Пщицы, намереваясь попасть на Первый Украинский в 60-ю армию генерала Курочкина, которая наступает, и, по слухам, удачно. Но когда мы по дороге туда заехали в Гинденбург, чтобы на всякий случай запастись разрешением комендатуры на ночлег в гостинице, если мы к ночи вернемся сюда от Курочкина, то вдруг узнали о неожиданном для нас событии.

Не дожидаясь конца войны, Верхнюю Силезию уже сейчас передают Польше. Конечно, это предвиделось Крымским соглашением. Верхняя Силезия так или иначе должна была отойти к Польше, но то, что это происходило уже сейчас, очевидно, было политической акцией, которая могла оказать влияние на более демократический состав формирующегося сейчас польского правительства. Во всяком случае, мне кажется, что это так.

Узнав это, мы изменили свои планы. Решили поехать к Курочкину на другой день и двинулись прямо в Катовицы, где, по сведениям комендатуры, в двенадцать часов по здешнему времени и в два часа

по нашему, московскому, должен был открыться митинг, посвященный передаче Верхней Силезии Польше.

В Гинденбурге по этому поводу было уже вывешено на улицах несколько польских флагов, которых я до этого здесь еще не видел. Флагов было мало. Наверно, это объяснялось тем, что, насколько мне известно, как раз в самом Гинденбурге польского населения сейчас не больше семи процентов.

Чем дальше по дороге на Катовицы, тем флагов становилось все больше. Особенно много их было вывешено в шахтерских поселках между Кенигсхютте и Катовицами, где жили и работали польские шахтеры. Начиная с Кенигсхютте по шоссе двигалось все больше людей — мужчин, женщин и даже детей. Очевидно, это поляки шли на митинг в Катовицы. Потом мы догнали небольшую колонну шедших из Кенигсхютте в Катовицы польских детишек. Потом обогнали шагавших по шоссе пожарников в полном обмундировании и блестящих касках. Потом долго ехали вдоль колонны шедших в парадной форме силезских шахтеров. Черные длинные брюки и черные ботинки, короткие, до пояса, черные куртки с рукавами, на которых сверху нашиты еще как бы вторые сборчатые рукава; немножко похожие на монашеские клобуки, черные круглые шапки с разноцветными петушиными перьями — красными, белыми и черными. Впереди колонны шел оркестр, а впереди оркестра ехал всадник в жупане с меховой опушкой и в лихо сдвинутой набекрень шапке. Таких, как он, я видел когда-то на старых гравюрах, изображавших восстание Костюшки и другие события того времени.

После шахтеров мы обогнали еще колонну детей, на этот раз школьников, потом еще одну колонну шахтеров и наконец въехали в Катовицы.

На главной площади города уже стояла огромная толпа. Хотя нет, назвать это толпой, пожалуй, неверно. Скорей это была пришедшая сюда огромная демонстрация, разместившаяся правильно построенными колоннами. Сама по себе площадь была не очень большая, ограниченная со всех сторон домами. К самому большому, наверно, административному зданию с большими окнами и массивными колоннами, к его центральному входу поднималась с площади серая каменная лестница, на которой уже стояли знаменосцы.

Знамен было много, больше ста. А может быть, даже и двести. Некоторые из них — новые, большая часть — старые, невесть как сохранные. Некоторые с польскими орлами — и на полотнищах, и на золоченых остриях, заканчивающих древко. А некоторые знамена — и довольно много — были шелковые, голубые, с изображением святой Барбары, покровительницы шахтеров.

Посреди лестницы стояла трибуна, завешенная полотнищами с польскими орлами. А ниже трибуны по сторонам высились два полотняных транспаранта с портретами Сталина и президента Рады Крайовой Берута. Под портретом Сталина лежал огромный, многопудовый кусок угля с выдолбленной на нем надписью: «Великому маршалу Сталину от горняков Силезии».

На ступенях лестницы перед началом митинга толпилось несколько десятков людей — польские и наши военные и штатские. Должно быть, здешние члены руководства рабочей партии и служащие воеводства. Постепенно подходили еще и еще люди, которых пропускала на лестницу охрана. Прошло несколько опоздавших фотографов. А потом появился старый человек, высокий, сухой, прямой, словно проглотивший палку, в котелке и старом штатском пальто с приколотыми к нему двумя орденами и двумя медалями. Старик прошел важно, ни на кого не глядя; у него было серьезное и гордое, старчески худое лицо и большие, вылезшие из рукавов узловатые руки.

Не знаю, кто это был. Но мне, несмотря на котелок, показалось, что это человек из народа. Может быть, какой-нибудь старый горный мастер, участвовавший еще в той мировой войне.

На митинге должны были выступать президент Рады Крайовой Берут, премьер-министр Осубка-Моравский и командующий Войском Польским Роля-Жимерский. В ожидании их суетилось несколько щеголеватых польских офицеров. На них были лихие конфедератки с синими околышами, один из них — маленький человек с миловидным лицом, длинными русыми, высовывавшимися из-под конфедератки волосами, в черном плаще и с большим пистолетом — особенно подчеркнуто суетился, бегал, улыбался, позировал фотографам. И я подумал, что это, наверно, чей-нибудь адъютант...

Мы приехали заранее и ждали около часа. Сначала было пасмурно, потом немножко поморосил дождь, потом разгулялось. И когда на башне пробило два часа, выйдя из какого-то дома наискосок от площади, по направлению к лестнице пошли те, кого здесь ждали: Берут, Осубка-Моравский, Роля-Жи-мерский и с ними генерал-майор — наш представитель. Кто-то сказал мне, что они приехали сюда после того, как уже побывали сегодня на двух митингах — у металлистов и горняков Силезии.

Когда они взошли на лестницу и встали на ней несколькими ступеньками ниже трибуны, в общей массе уже стоявших там людей, толпа закричала:

— Нех жие! Нех жие! — трижды. И трижды в такт этому обнажались головы и вздымались в воздух шапки. Если учесть, что на площади было двадцать тысяч человек, зрелище довольно внушительное.

После этого оркестр горняков в своих странных черных одеждах и шапках с султанами заиграл чудесный польский гимн, красивее которого, пожалуй, только «Марсельеза».

Площадь стояла, обнажив головы. Наши офицеры стояли, приложив руки к козырькам, польские — небрежно бросив поверх козырька два пальца.

Ловлю себя на ощущении, что, несмотря на всю серьезность моего отношения к происходящему сейчас в Польше, я отношусь с каким-то чувством внутреннего неприятия к чему-то неуловимо щеголеватому, что проскальзывает в манере поведения некоторых представителей Войска Польского. Есть в этом что-то внешне несерьезное, несмотря на весь тот безусловный патриотизм, который, как я уже не раз успел в этом убедиться, живет в душах поляков, может быть, сильнее, чем в людях других наций.

Первым выступил генерал-лейтенант Завадский — воевода Силезии. До сих пор он был в Катовицах в качестве воеводы Домбровской области, но теперь, с этого дня, в его воеводство входила вся Силезия.

Я видел Завадского еще в сорок четвертом году в Люблине, когда он был заместителем по политической части у генерала Берлинга в Первой польской армии, и слышал еще тогда, что это один из крупных работников польской компартии.

Он взошел на трибуну — невысокий, тщательно одетый, в большой, шитой по козырьку серебряным зигзагом конфедератке — и заговорил темпераментно,

но в то же время размеренно, как опытный оратор, хорошо помнящий о необходимости пауз. Завадский говорил довольно долго, и насколько я, далеко не все улавливая, мог понять его речь, она, очевидно, была именно той речью, которую следовало сказать в этих условиях. Он говорил о будущих новых границах Польши по Одру и Нейсе, о Балтийском море, о дружбе с Россией, о необходимости продолжать военные усилия, о благодарности народа к Красной Армии и Войску Польскому.

Когда он останавливался, завершая паузой каждую часть своей речи, народ на площади аплодировал и кричал «Нех жне!». Оркестр играл один куплет польского гимна, и все на площади снимали шапки.

После того как Завадский говорил о Красной Армии и о Сталине, вдруг заиграли наш гимн. Оркестр играл очень неуверенно и в неправильном темпе, но, даже несмотря на такое исполнение, сам этот факт волновал душу.

После Завадского выступал Берут. Ему было на вид лет сорок пять, но, возможно, и больше. У него было одно из тех красивых и жестких лиц, которые долго не стареют. Он говорил не бог весь как хорошо, с ораторской точки зрения, и коротко. Но за время его короткой речи ему несколько раз аплодировали и кричали «Нех жне!».

После Берута выступал Осубка-Моравский. У него были почти седая голова и совсем молодое, какое-то рвущееся вперед лицо. Все вперед — и нос, и подбородок. Эти острые и резкие черты лица делали его моложе, чем он есть.

В своей речи он сказал, между прочим, фразу о том, что Польша находилась и находится между Россией и Германней и никогда не смела и не смеет позволить себе роскошь враждовать с обоими своими соседями. Эту фразу, если я только правильно ее понял, я ощутил как какую-то чересчур деликатную. Правда, он сразу же после этого заговорил о том, что Польше необходимо дружить с нами, о чувстве благодарности и налагаемых им обязательствах и так далее, но все это благодаря предыдущей фразе воспринималось мною уже не с точки зрения эмоциональной, а с точки зрения разумной необходимости и практической пользы.

После выступлений Берута и Осубка-Моравского площадь в их честь прокричала по три раза «Нех

жне!», а затем выступил генерал Роля-Жиммерский. У генерала было полное, немножко бабье лицо, такое, что мне казалось, что, если этого человека одеть в сутану, она ему очень пойдет. Говорил он хорошо. Начал тихо, еле слышно и строил всю свою речь на повторах. Голос его все усиливался, все креп. Он говорил так, как иногда читают стихи умеющие это делать поэты — несколько монотонно, но при этом все больше и больше привлекая к себе внимание темпом речи, ее ритмическими и смысловыми повторами.

Его слушали внимательнее и горячее всех. И, когда он закончил, ему больше всех выпало аплодисментов и криков «Нех жне!». Он говорил о силе Красной Армии, о силе Войска Польского, о мести немцам, отбирал только самое простое и доходчивое из всего, что можно было сказать собравшимся здесь сейчас людям. Поэтому его слова были покрыты самыми громкими аплодисментами.

Мне показалось, что в этом поднявшемся на трибуну командующем Войском Польским, который был при этом еще и генералом старой польской армии, в сознании собравшихся, очевидно, было нечто незыблемое, нечто такое, что олицетворяло для них Польшу вообще. Не только демократическую, новую Польшу, а вообще Польшу.

После Роля-Жиммерского выступил наш генерал-майор, толстый, в генеральской фуражке и почему-то не в шинели, а в летном комбинезоне. Говорил он трезво, разумно и очень коротко, с самого начала прямо обратив свою речь к шахтерам и металлистам Силезии, чем с первой же минуты вызвал к себе симпатии собравшихся на площади людей.

Вначале генерал смешно оговорился, сказав: «Товарищи шахтеры, товарищи металлисты, товарищи рабочие и работницы силезских шахт и рудников, товарищи домашние работницы». Должно быть, он хотел сказать «товарищи домашние хозяйки». Но этой оплошности никто не заметил, потому что все, что он говорил дальше, было разумно и хорошо.

Последним на трибуну вдруг выскочил человек без шапки; он что-то комкал в руке, я сначала не мог понять и только потом понял, что это снятая им с головы шапка. Черный, всклокоченный, он сразу начал с самых высоких нот, иногда срывался, хрипел, кашлял, но все равно продолжал до самого конца на этих высоких нотах. Он говорил страстно и сильно. Биче-

вал лондонское правительство, говорил о Беруте, Осубка-Моравском и Роля-Жимерском как о людях, которые не бросили свой народ, вместе с ним остались бороться в подполье и поэтому знают его нужды. Противопоставляя их лондонцам, он говорил о необходимости не покладая рук работать, говорил о том, что русские обещали помочь возрождению Польши, и призывал присутствующих приложить все усилия для восстановления страны. И хотя мне несколько раз казалось, что он не рассчитал силы своего голоса, что вот сейчас сорвется и замолчит, он все-таки выдержал всю речь до конца на этой высокой ноте.

Его много раз прерывали криками «Нех жиє!», и он сошел с трибуны под гром аплодисментов. Как я понял, он выступал от местной организации рабочей партии.

Кстати сказать, тот старик с двумя крестами и с двумя медалями, которого я заметил в начале митинга, стоял недалеко от трибуны и во всех тех местах, где ему нравились речи ораторов, снимал с головы свой котелок и, пристально глядя на говорившего, тянулся к нему, как бы желая тут же, немедля выразить этим свое одобрение тому, что он услышал. Ему не просто нравились произносимые с трибуны слова, он сам как бы жил этими словами, принимал их в себя как нечто свое, собственное, уже не принадлежавшее больше оратору...

МЕЖДУ ГЛАВАМИ

После 17 марта следующая страница записных книжек помечена 24-м. В них не осталось следов того, где я был и что видел на протяжении этой недели, хотя вся она была занята работой.

В других своих записях я нашел об этой неделе только две строчки: «В промежуток между двумя фазами наступления ездил на несколько дней в Словакию, в Чехословацкий корпус генерала Свободы, который в то время вел бои в районе Липтовский Микулаш». И все.

На самом деле поездок за эту неделю на фронт было две. И одна из них, отложенная из-за митинга в Катовицах, на стык Четвертого и Первого Украинского, в армию генерала Курочкина.

Наверно, я собирался сделать записи о двух днях, проведенных там, но не успел, потому что редакция торопилась с передачей материала о Чехословацком корпусе.

60-я армия генерала Курочкина хотя и наступала, но еще не добилась в те дни настолько ощутимых успехов, чтобы писать о них в «Красную звезду», куда с разных фронтов стекались корреспонденции о взятии все новых и новых городов.

Корреспонденции из 60-й армии я не написал, а в записных книжках остался пробел, о котором жалею хотя бы потому, что один из этих двух дней я хвостом проезжал за маршалом Коневым, прибывшим в свою крайнюю левофланговую 60-ю армию. В войсках Конева я не раз бывал и до этого, но его самого видел впервые.

Через много лет, работая над своими романами о войне и в ходе этой работы обратившись за помощью к Ивану Степановичу Коневу, я расспрашивал его и о событиях прошлого, и о взглядах на войну, сложившихся у него как у командующего одним из решающих фронтов. Во время одного из этих разговоров мы оба стали вспоминать, когда же мы впервые познакомились и как это было.

Когда было, оба вспомнили, а как было, — нет.

Видимо, первое знакомство было минутным. Корреспондент «Красной звезды» представился маршалу Коневу и попросил разрешения в течение дня ездить вслед за ним всюду, куда он поедет.

Конев сказал «да», сел в свой «виллис» и поехал, вот и все первое знакомство.

На сколько-нибудь длительные разговоры со мной или с кем-нибудь другим, кто мог бы оказаться на моем месте, у Конева в тот день времени не было. При всем несовершенстве такого зыбкого инструмента, как память, это я как раз хорошо запомнил и не боюсь записать на бумагу двадцать восемь лет спустя.

Не помню подробностей обстановки, местности, погоды, но хорошо помню, как с утра и дотемна Конев стремительно объезжал один за другим корпуса и дивизии наступавшей армии, ехал с одного наблюдательного пункта на второй, третий, четвертый, выслушивал людей, отдавал приказанья и снова стремительно ехал дальше.

Видимо, он берег каждую минуту и спешил сде- 99

лать за день как можно больше необходимого, прежде чем ночью вернуться к себе в штаб фронта. Время его было сконденсировано до предела; хотя 60-я армия проводила существенную наступательную операцию, но Коневу, кроме нее, надо было управлять еще всю громадную Первого Украинского фронта — семью общевойсковыми армиями, не считая двух танковых и авиации.

Подробности так и остались незаписанными, а впечатление о встреченном в тот день незаурядном человеке осталось.

Сорокасемилетний, на десяток лет моложе меня, пишущего сейчас эти строки, худой, резкий, стремительный, ни на что, ни на одну минуту не отвлекающийся и неспособный отвлечься от своего единственного дела — войны, — таким сохранился в моей памяти Конев ранней весны сорок пятого года.

В корпус генерала Свободы, который вел наступательные бои в горных районах Словакии, на левом фланге Четвертого Украинского фронта, мне пришлось ехать довольно длинной, кружной дорогой.

К сожалению, и после этой поездки, в которой судьба свела меня с другим незаурядным человеком — будущим президентом Чехословакии, — у меня не сохранилось никаких дневниковых записей. Но мне хочется, чтобы след этой встречи все же остался в книге. Поэтому единственный раз на всем ее протяжении я приведу выписки не из дневника, а из своей корреспонденции «Генерал Свобода», посланной по телеграфу с фронта и тогда же, в марте сорок пятого года, напечатанной в «Красной звезде».

«...Невдалеке слышалась канонада, но было уже поздно, стемнело, и мне думалось, что если генерал Свобода был весь день на наблюдательном пункте, то он, наверное, уже вернулся...

— Генерала нет, — сказали мне.

— А где же он?

— Как где? На наблюдательном пункте.

— Когда он вернется?

— Наверное, поздно. Он всегда возвращается поздно.

После долгой дороги я решил заночевать в помещении штаба корпуса и, заснув как убитый, проснулся только утром в девять. Наспех одевшись, я тотчас же отправился к генералу.

— Он на наблюдательном пункте.

— Давно он уехал?

— Давно, в пять утра. Он всегда уезжает очень рано.

Уперев оба фланга в заваленные многометровым снегом скалы, немцы упорно удерживали в своих руках единственную, шедшую по ущелью дорогу. Даже на шоссе метель свирепствовала так, что на ровном месте приходилось откапывать машину лопатами.

Мы свернули с шоссе и поехали лесной бревенчатой дорогой, как где-нибудь на Северо-Западном фронте в сорок втором или сорок третьем году. Однако даже и эта бревенчатая кладка не спасала от метели. На открытом участке длиной метров в пятьсот дорогу так замело, что мне с провожатым пришлось бросить «виллис» и идти до ближайшей деревни пешком, а там седлать лошадей и верхом ехать на наблюдательный пункт к генералу. Смотреть навстречу метели было почти невозможно, приходилось закрывать руками глаза и отдаваться на волю лошади, которая под снегом нащупывала дорогу. Наконец мы добрались до деревни, где прямо посреди улицы стояли тяжелые полковые минометы, с визгом палившие по немцам через крыши домов.

Свернув в поднимающуюся на холм улицу, мы добрались до наблюдательного пункта генерала. В избе на лавках сидело несколько офицеров, а на табуретке у стола, на котором была разложена большая карта, сидел сам генерал Свобода. Я знал, что сегодняшний день был тяжелым днем, что немцы непрерывно контратаковали и как раз сегодня корпусу удалось продвинуться только на то расстояние, которое, как бы щедро ни было оно полито кровью, все равно не отмечается в сводках Информбюро.

— Неважно сегодня воюем,— сказал генерал.

Это были первые слова, которые он сказал мне после «здравствуйте» и повторил:

— Неважно воюем. Контратакуют, отбиваем. Но сами продвинулись только на несколько сот метров. А когда начинаем измерять на метры, это плохо, даже когда это временно.

За пять минут до этого генерал послал с каким-то поручением одного из своих офицеров. Тот вернулся, запорошенный снегом, и, громко щелкнув каблуками, как это принято в чехословацкой армии, доложил о своем прибытии.

— Ну, как, видно? — спросил его генерал.

— Так точно, можно наблюдать.

— Ну, что ж, пойдете на наблюдательный пункт,— обратился ко мне генерал.— Посмотрите своими глазами. Я посылаю проверить, видно ли. Говорят, видно.

Мы вышли из хаты, перешли двор, прошли через большой сарай и по высокой лестнице-стремянке стали подниматься на сеновал. Генерал легко взошел по этой отвесной лестнице своей почти юношеской, несмотря на его пятьдесят лет, походкой. В крыше сеновала были прорезаны два отверстия с поставленными в них трубами. Пейзаж — покрытые снегом холмы, резко пересекающиеся узкими лощинами. Ближайшие холмы были захвачены вчера и сегодня. Дальние принадлежали немцам. Оттуда, из черневшего по гребням холмов леса, из окопов, которые даже простым глазом были видны, как тонкие черные зигзаги, немцы сегодня весь день переходили в контратаки. В данную минуту последняя по счету контратака отбита, и, наоборот, готовился к атаке чехословацкий батальон, накапливавшийся на исходных позициях.

Метель вдруг затихла, и с наблюдательного пункта были хорошо видны черные фигуры чехословацких пехотинцев. Они поднимались вперед, на холм, откуда должны были пойти в атаку.

Сзади, из деревни, бухали тяжелые минометы. Было видно, как на немецких позициях ложатся мины, поднимая серо-белые столбы дыма и снега. Немцы не оставались в долгу. Их мины ложились неподалеку от дороги, по которой двигался шедший к передовой батальон. Генерал слегка морщился, когда разрывы ложились слишком близко от дороги. Обзор был очень хорош. Изба, избранная в качестве наблюдательного пункта, стояла на самом краю деревни, а ее дворовые постройки выходили на гребень холма.

...Обратно в штаб корпуса мы выехали под вечер. Снег валил крупными хлопьями, и мы ехали на санях. Генерал сидел в санях, опираясь на толстую, окованную медью палку местного изделия. На голове у него была высокая папаха, из-под нее выбивались седые волосы. Лицо было обветренное, красноватое, но от этого на нем только ярче выделялись голубые упрямые глаза.

По лесной дороге навстречу ему шли солдаты, ехали повозки со снарядами, двигались обозники.

И, видя, как встречают его все эти люди, было нетрудно понять, как он популярен у себя в корпусе...

Приходится ограничиться этими выписками. Больше никаких подробностей об этих днях, проведенных в Чехословацком корпусе, в корреспонденции, напечатанной в «Красной звезде», нет. Все остальное в ней — биография генерала Свободы и боевая история корпуса.

Написав эту корреспонденцию и отправив ее в «Красную звезду», я уже не имел времени на дневниковые записи — на Четвертом Украинском фронте после недельной паузы началось новое наступление...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Затиская Киньска
за 24.3.45*

Наконец, еще раз перенесенное из-за погоды со вчерашнего дня на сегодняшний, начинается долгожданное наступление. На этот раз удар решено наносить со сравнительно глухого лесистого направления через город Зорау, перед которым вплотную стоят наши части.

После урока предыдущего неудачного наступления это готовили в большом секрете. Дороги под утро совершенно пусты, все уже давно растащено в стороны и замаскировано. Лишь у самой передовой на дороге, прикрытые утренней дымкой и замаскированные ветвями, стоят танки Чехословацкой бригады и полк наших самоходок. Их вывели сюда ночью.

Начало артподготовки назначено на 8.15. Звезды уже потухают, от окружающих болот, прудов и озер тянет сыростью. Туман, оторвавшийся от земли, поражает необычностью вида — он висит в воздухе на уровне 7—8 метров, словно на невидимых нитках подвешенная к небу громадная белая простыня.

Миновав танки и самоходки, сворачиваем налево и останавливаемся у трех кирпичных домов. Здесь помещается наблюдательный пункт корпуса. У ре-

щетчатого забора уходит дырка в землю. Щель с перекрытием в два ряда бревен на всякий случай.

Передний край проходит примерно в километре. Впереди видна железнодорожная насыпь, в ней укрепились немцы. За насыпью — Зорау. Но его пока что скрывает туман.

Вхожу в маленькую комнату с несколькими плюшевыми стульями и никелированной кроватью. Командир корпуса генерал Мельников в распахнутом френче полулежит на кровати, подложив руки под голову.

— Вот валяюсь. Все готово. Делать нечего, жду.

Он присаживается на кровати. Мельников весь какой-то квадратный, с большой, наголо бритой головой и глубоким шрамом на лбу. У него квадратное туловище, тяжелое квадратное лицо и глуховатый спокойный голос. Но, несмотря на внешность, веет от него не угрюмостью, а какой-то солидностью, основательностью. На квадратном лице острые живые глаза.

Тут же в комнате сидят начальник штаба и начальник артиллерии. Все в состоянии томительного ожидания. То один, то другой выходит на улицу посмотреть погоду. Туман все еще не рассеялся, хотя день обещает быть хорошим.

— Раньше одиннадцати не рассеется, — угрюмо говорит Мельников. — Я еще вчера командующему это докладывал. Вчера тоже потом хороший день был, но рассеялось только к одиннадцати. Если раньше времени начнем, много снарядов зря покидаем.

Кто-то из присутствующих говорит, что лучше было бы вообще начинать в двенадцать или в час, тогда для немцев это непривычное время будет полной неожиданностью.

По-моему, это и так для них будет неожиданностью, — говорит Мельников. — Я в этом убежден, что они пока ничего не знают. Ведут себя ни тихо, ни громко, как обычно. Но вот снаряды даром покидаем, если начнем раньше, чем туман рассеется, вот это плохо будет.

Звонит Москаленко.

— Есть. Слушаю. Есть... — чему-то радуясь, говорит в трубку Мельников и кладет ее. — Отложено на час. Сейчас же сообщите всем, — оборачивается он к командующему артиллерией.

Потом снова хмурится и упрямо повторяет, что и в 9.15 все равно не рассеется. Не раньше, чем в одиннадцать.

Видимо, эта мысль его мучает, и разговор продолжает вертеться вокруг нее, пока не раздастся новый звонок Москаленко. На этот раз, положив трубку, Мельников обращается к начальнику связи:

— А ну, давайте, немедленно выясните, у кого в корпусе позывные «Дуб», «Клен».

— У меня нет таких позывных,— не колеблясь отвечает тот.

— Тогда выясните у всех приданных нам артиллерийских частей, у кого «Дуб», «Клен». Представьте себе,— говорит Мельников, когда начальник связи выходит,— какой-то мерзавец с этими позывными только что открытым текстом сказал по радио: «Дуб, я Клен. Помни, что через пять минут начнется».

— По-моему, и у приданных нам артиллеристов нет таких позывных,— говорит начальник артиллерии.

— *Черт его знает! — пожимает плечами Мельников.— Может быть, у соседей? Соседи раньше нас начинают, но опять-таки по времени не выходит. Через пять минут, значит, в 8.10... Не понимаю.

— Может, немцы провоцируют,— предполагает кто-то.

— Если провоцируют, плохо. Значит, беспокоятся...

Через пять минут, хромая, волоча одну ногу, входит командир артиллерийской бригады. Худощавый, востроносый и показавшийся мне очень молодым, пока он не стащил с головы солдатскую шапку с генеральской звездочкой. Голова у него была почти совершенно седая.

— Что там с этими позывными? — спросил он. Мельников объяснил.

— Нет, у меня в бригаде тоже нет таких позывных,— сказал артиллерист и, снова надев шапку и сдвинув ее набекрень, присел, поставив меж ног палку, на которую опирался.

Через пятнадцать минут начальник связи входит и докладывает, что ни в корпусе, ни в приданных корпусу частях позывных «Дуб» и «Клен» нет.

— Как так нет? — строго переспрашивает Мельников.

— Никак нет,— стоит на своем начальник связи. 105

— Ну и слава богу, что нет,— облегченно вздохнув, говорит Мельников.— Так и доложим.

Через несколько минут снова звонят сверху, что артподготовка отложена еще на час.

— Это хорошо,— говорит Мельников.— Это, значит, в десять пятнадцать. А только все равно туман раньше одиннадцати не поднимется,— упрямо повторяет он.

В связи с погодой вдруг начинаются воспоминания о Крыме. Артиллерийский генерал называет хорошо мне знакомые места на Керченском полуострове: Корпеч, Тулумчак, Джантару...

— Вот уж когда нам с погодой не повезло, то есть так не повезло! Ну что за погода была! С утра, как только начали наступление, и дождь, и снег, и град, и черт знает что... Ужас просто.

— Да, кто в Крыму не бывал, тот горя не видал,— соглашается начальник штаба корпуса, который тоже был в Крыму.

Я выхожу на улицу. Туман все-таки начинает понемногу рассеиваться. Уже видны крыши домов на окраине Зорау. Мне начинает казаться, что Мельников ошибается и туман поднимется все-таки раньше одиннадцати.

— Ну как, рассеивается? — спрашивает Мельников, когда мы входим обратно.

— Понемножку рассеивается.

— До одиннадцати не рассеется,— еще раз повторяет он.

— А вы бы доложили командующему,— советует кто-то.

— Что ж я буду докладывать. Им там тоже все видно не хуже, чем мне. Они же не где-нибудь в штабе, а тут же, в восьмистах метрах от меня сидят.

— Да, значит, еще час и сорок минут,— говорит артиллерист.— Такое чувство, словно стоишь, ждешь на платформе, а поезд опаздывает.

Мельников заговаривает о том, что, видимо, сегодня все же удастся обеспечить внезапность.

— По-моему, спрятались мы хорошо. Конечно, два-три дня назад они заметили, когда мы ставили артиллерию на прямую наводку. Но я приказал в тот же вечер всю артиллерию еще раз переставить. Немцы под утро стали бить по засеченным точкам, побили, побили по пустому месту, подумали, что разбили, и успокоились. А у меня все цело,

Из дивизии звонят по телефону, что немцы отдельными группами с ручными пулеметами подходят к железнодорожной насыпи.

— Неужели все-таки пронюхали? — встревоженно говорит в трубку Мельников. — Не должно этого быть. Стреляйте по ним понемножку теми орудиями, что на прямую наводку стоят. Ничего, — добавляет он, уже положив трубку. — Пусть немножко по ним постреляют, сколько-нибудь побьют, все польза. А кроме того, даже подозрительно было бы, если бы мы их наблюдали, а не стреляли.

Через двадцать минут с наблюдательного пункта дивизии сообщают, что, оказывается, немцы не подходят к железнодорожной насыпи, а, наоборот, отходят от нее. Наблюдатели, когда в первый раз докладывали, ошиблись.

— Вот это уже хуже, — говорит Мельников.

Все в комнате взволнованы.

— Неприятно, если что-то все-таки почувствовали, — говорит Мельников. — Хотя мое мнение прежнее — не должны они почувствовать. Но тогда вопрос, почему передвигаются. Ну, ничего, через пятьдесят минут начнем. Значит, даже если отойдут на вторую линию, все равно недалеко уйдут. Мы по первой линии дадим только десять минут огня и сразу перенесем огонь на вторую. Еще неизвестно, где их гуще накроет. Хотя, конечно, с психологической точки зрения, плохо, если догадались заранее. Когда догадываются заранее, крепче держатся. Но все равно всех их так или иначе перебьем. А у мертвых психологический фактор особой роли не играет. Да, да, — подтверждает он начальнику артиллерии, — пусть пушки прямой наводкой бьют, и поактивнее. Пусть, не открывая общего огня, бьют отдельными орудиями.

Невдалеке начинают ложиться немецкие снаряды. Стекла дрожат.

— Капают, — говорит Мельников.

Разрывы все чаще.

— Нет, пожалуй, это артналет.

— Волнуются, — замечает кто-то.

— Да. Начинают волноваться.

Через минуту артналет прекращается. Наступает затишье. Только на переднем крае негромко, отрывисто бьют прямой наводкой наши малокалиберные пушки.

Звонят по телефону из дивизии. Мельников, положив трубку, говорит:

— Докладывают, что бьют немцев, они падают. А часть тех, что ушли, возвратилась обратно к насыпи. Ничего. Побьем. Всех.

Он произносит эти три слова отдельно, через точки. И тяжело ударяет по столу кулаком.

Ровно в девять тридцать слева тяжело начинают грохотать «катюши» и одним вздохом ахают сотни стволов артиллерии.

— Соседи начали.

Выходим на воздух. Слева километров за десять все ревет и грохочет. Это начал артподготовку бондаревский корпус с плацдарма, завоеванного им в предыдущем наступлении.

Артподготовка так и была назначена там на сорок пять минут раньше, чем здесь, на направлении главного удара, с расчетом на то, что немцы воспримут это как повторение нашего наступления на том же самом участке, что и в прошлый раз. И сразу же потянут туда свои ближайšie резервы. А потом, когда уже выяснится, что мы наносим свой главный удар не там, а здесь, возвращать эти резервы с полпути будет лишней потерей времени.

Насколько я знаю, все последние дни мы много занимались дезинформацией немцев. Производили много ложных передвижений и, в частности, подавали соседям слева колонны автотранспорта и гоняли там у них по рокаде взад и вперед танки, стараясь создать впечатление, что главный удар готовится именно там.

Изредка среди общего гула канонады слышны разрывы. Это отстреливаются немцы.

Возвращаемся в комнату. Звонит командующий. Предупреждает.

— Спокойствие, спокойствие,— усмехается Мельников, положив трубку.— Бойтся, чтоб мы не сорвались, услышав, что соседи начали.

— Десять часов десять минут,— среди наступившего молчания говорит командир артиллерийской бригады.— Немцы еще пять минут живут, а на шестой начинают умирать.

Начальник артиллерии вызывает в комнату еще двух командиров артиллерийских бригад, полковников. Оба входят с палками. Как я успел заметить, у многих наших офицеров, в особенности у танкистов

и артиллеристов, ходить с палками стало не то привычкой, не то модой, а порой и тем и другим.

— Приготовьтесь, больше откладывать не будем,— обращается к полковникам командующий артиллерией, и голос его звучит даже немножко торжественно.— Артиллеристам взяться за шнуры.

— Есть взяться за шнуры,— отвечают полковники и выходят.

Оставшийся в комнате генерал, командир бригады, вдруг вспоминает, как на Центральном фронте один раз у них вышла целая история.

— Не успели всех предупредить о перемене часа начала артподготовки, два полка начали раньше времени, а вслед за ними сорвались и остальные.

— Ну и что? — спрашивает Мельников.

— Ничего. Все удачно сошло.

— Потому и ничего, что удачно сошло,— иронически замечает Мельников.— А если бы неудачно, так и костей бы не собрать потом тем, кто раньше времени начал. Принцип принципом, а победа надо всем властвует и все забывать заставляет.

Остается минута.

— Что ж, с богом,— говорит кто-то.

— В добрый час,— говорит Мельников и, застегнув на все пуговицы свое кожаное пальто, нахлобучив папаху, выходит.— Огонь! — уже выходя, говорит он начальнику артиллерии.

Тот бросается вниз, в вырытый возле самого дома котлован, где стоят рации и телефонные аппараты. И через пятнадцать секунд раздается первый чудовищный залп эрэсов. Над нашими головами летят огненные стрелы, в нескольких сотнях метров от земли они чернеют и становятся похожими на маленькие гаптели. Это тяжелые реактивные снаряды. А через минуту, заполняя своим голосом все пространство, за нашей спиной почти разом заговаривает тысяча артиллерийских стволов.

И в ту же минуту по шоссе мимо нас срываются вперед легкие 76-миллиметровые самоходки. Они идут на большой скорости одна за другой и исчезают за поворотом дороги.

Впереди все гремит и рушится. Сначала еще можно наблюдать, как снаряды попадают в дома на окраине Зорау. Потом над Зорау появляются наши бомбардировщики, все сливается в одно общее зарево, над которым стоит пелена дыма и пыли. И лишь в

отдельных местах, вырываясь из этой пелены, взлетают вверх черные столбы.

Штурмовики с тяжелым резким ревом, бомбя и стреляя, проносятся над немецкими траншеями у окраины города. Вслед за самоходками по шоссе идут чехословацкие танки. На втором или третьем из них едет человек в кожанке и, сорвав с головы шлем, машет им движущейся вдоль дороги пехоте.

От дома, где мы стоим, отделяется какой-то офицер и бежит к дороге. Видимо, это кто-то из офицеров связи. И ему нужно ехать вперед. Он машет рукой танкам, чтоб его подсадили на броню, но танки наирают один на другой и уже не могут остановиться, и в том, что они уже не могут остановиться, есть тоже что-то волнующее. Один за другим они начинают свертывать с шоссе и идти наискось по полю к переправе, которая наведена левее города.

Я поднимаюсь на чердак дома. В стереотрубу хорошо видно, как первые, переправившиеся через протекающую перед Зорау речку танки минуют первые немецкие траншеи и движутся дальше. Видны маленькие фигурки саперов, идущих впереди танков с пестами миноискателей. Слева и справа от танков идет пехота, причем, как это всегда бывает во время атаки, издали кажется, что ее совсем немного. Да и не только кажется. Если взять весь громоздкий механизм нынешней войны, то, когда, скажем, как сегодня, на участке главного удара переходит в наступление целая армия при поддержке соседей, все-таки реально на самом участке прорыва в первой волне идет не так много пехоты. Несколько сот, может быть, до тысячи человек. Все глубоко эшелонировано, и в том корпусе, который прорывает фронт на участке главного удара, впереди идет одна дивизия, тоже построенная в два эшелона. В первом эшелоне идут два полка, а в каждом из этих двух полков впереди по два батальона. И в этих батальонах по одной роте идет уступом сзади и по две впереди, и в итоге получается, что на участке прорыва в самых первых рядах наступающих идет человек семьсот-восемьсот пехотинцев плюс саперы, плюс танки, плюс все, чем их поддерживают.

Конечно, уже никому и никогда не увидеть теперь тех атак, которые происходили во время наполеоновских войн. Нынешняя атака не представляет собой ничего похожего на это, хотя и изображается иногда

некоторыми нашими писателями в стиле войны 1812 года.

А последние танки все еще идут вдоль шоссе. Они обложены с двух сторон фашинами из длинных веток, на броне сидят десанты, а на последнем танке вместе с десантниками примостились регулировщики с флажками. Им предстоит занять первые регулировочные посты в том самом Зорау, который сейчас горит.

В стереотрубу хорошо видно, как пехота движется все дальше и дальше. Вокруг нее почти нет дыма разрывов. На этот раз дело идет благополучно, немецкая артиллерия переднего края на всем участке прорыва основательно подавлена, но все равно нетерпение и волнение на наблюдательном пункте дают себя знать.

Минут через тридцать мимо нас проносятся первого раненого офицера. Его тащат четверо солдат, положив на плащ-палатку и взявшись за ее концы.

Еще через несколько минут приводят пленного немецкого фельдфебеля. Он измазан, весь в копоти и земле, белобрысый, на вид лет тридцати пяти. Не знаю, то ли фольксштурм, о котором в последнее время много разговоров, используют на других участках фронта, то ли фольксштурмисты не сдаются или не попадают в плен, но все пленные, которых я видел в предыдущие дни, были примерно того же самого среднего возраста, в котором бывали пленные немцы и раньше, в прежние годы войны. Я не видел среди них ни мальчиков, ни стариков. Правда, многие из них в очках, и бог их знает, может быть, среди них многие ограниченной годности, но, во всяком случае, ни детей, ни стариков из фольксштурма я пока что не видел.

В том, что говорит фельдфебель, отвечая на вопросы Ортенберга, мало примечательного. Он говорит почти то же самое, что говорит почти всякий немецкий фельдфебель при схожих обстоятельствах. С практической точки зрения интересно только то, что он подтверждает: да, немцы действительно ничего не знали о нашем наступлении. Вчера им что-то говорили связисты, что у русских кто-то где-то передвигается, но более определенных слухов не было и никаких указаний начальства они не получили, так что удар оказался для них совершенно неожиданным. Потери от нашего огня, по словам

фельдфебеля, большие, а на вопрос о том, при каких обстоятельствах он попал в плен, он отвечает довольно неожиданно: «Русские товарищи обошли меня с двух сторон, и я сдался» (он именно так и говорит «руссише камераден»).

Фельдфебеля уводят, а начальник штаба корпуса, который в это время связался с соседом слева, сообщает новость. Несмотря на то, что там, у соседа, был только вспомогательный удар, в известной степени даже демонстрация, и артподготовка была сравнительно небольшая, и было введено в дело мало сил, но как раз там сейчас довольно серьезный успех: немцы, находившиеся перед левым соседом, дрогнули, побежали. Из стоявшей перед ним немецкой дивизии уже взято сорок пленных (потом, к концу дня, я узнал, что из этой дивизии сдалось в плен около двухсот человек). По показаниям пленных, солдаты из этой дивизии, два дня назад прибывшие из Италии и привыкшие к позиционной войне с нашими союзниками, очень боялись Восточного фронта. Потому, верно, первыми и драпанули.

Мы с Ортенбергом садимся в «виллис» и едем в Зорау. По дороге останавливаемся. Ортенберг на несколько минут заходит на наблюдательный пункт одной из наступающих дивизий. Я остаюсь на дороге. На ней уже начинаются пробки. Танкисты, вечные враги связистов, цепляются своими радиоантеннами даже за самые высоко подвешенные провода связи, а те, что висят пониже, рвут башнями и пушками.

Едем дальше.

Все пространство между нашим бывшим передним краем и железнодорожной насыпью взрыто. На поле лежат несколько мертвых наших бойцов, очевидно, подорвавшихся на минах или погибших от недолетов. Печальная история, без которой почти никогда не обходится.

Железнодорожная насыпь распахана артиллерией вдоль и поперек. Среди воронок лежат мертвые немцы, из вздыбленной земли торчат окровавленные обрывки чего-то невыразимого словами.

Мост через речку, который наши успели навести на диво быстро. Простучав по его бревнам, как по гармошке, попадаем на окраину Зорау. Здесь уже творится обычное в таких случаях столпотворение, тем более что город — узел нескольких дорог. Сапе-

ры идут, щупая мостовые впереди танков. За их спиной грохочут танки, а за танками уже тянутся грузовики с заправкой. Город за тридцать минут артиллерийской и авиационной подготовки буквально раздроблен в куски. Часть домов разбита совершенно, в других зияют многочисленные дыры от артиллерийских снарядов, многие дома горят, улицы в обломках.

В первый момент мне показалось, что жителей в городе нет, но, как потом выяснилось, это было не так. Просто они еще продолжали прятаться в подвалах.

Мы проехали Зорау и свернули правее, к стоявшему за окраиной города заводу, над которым торчала пробитая несколькими снарядами заводская труба. Свернув к заводу, мы попали по дороге на наблюдательный пункт дивизии, которая действовала правей Зорау. В маленьком блиндаже командир дивизии генерал Дударев. По словам Ортенберга, он командовал бригадой на Халхин-Голе и я должен был там его видеть, но я что-то не могу этого вспомнить.

Дударев — высокий, крепкий человек в очках, очень не идущих к его грубоватому, крепкому мужицкому лицу, фуражка у него сдвинута на затылок, ворот кителя расстегнут. Генерал собирается уезжать куда-то вперед, но перед этим поспешно доделывает какие-то необходимые дела и имеет вид человека, не то чтобы запаренного, а всецело ушедшего в свою работу. И все это вместе — и сдвинутая на затылок фуражка, и очки в железной оправе, и расстегнутый ворот, — все это придает ему вид мастера-человека, который работает, засучив рукава, и только на минуту повернулся к нам, оторвавшись от своего дела и не выпуская из рук инструмента.

От Дударева едем на завод. Завод находился как раз на самом переднем крае немцев. В его стены попало множество снарядов, но, как и всякую такую постройку, разрушить его нелегко, и, в общем-то, он цел. Это огромное, длинное кирпичное здание, состоящее из трех цехов. Видимо, завод узкой специализации. С полу поднимаются положенные один на другой свежешточенные диски для поворотных кругов танковых башен. Наверное, эти диски именно тут делались. В цехах нет почти ничего другого, кроме нескольких десятков огромных обдирочных и шлифовальных станков.

В последнем, третьем, цеху, в самом конце его, между двумя колоссальными шлифовальными станками под дыркою в крыше, через которую ударил снаряд, лежит наш мертвый, буквально растерзанный этим снарядом боец.

Зачем он забрался в этот самый дальний уголок цеха, где его подстерегала смерть? Гнался за каким-нибудь немцем? Ничего не известно. И уже никто не сможет на это ответить, потому что этот человек нашел свою смерть именно здесь, на немецком заводе в Зорау, на полу меж двух шлифовальных станков. Все-таки на войне много нелепого.

С завода возвращаемся в город. Население начинает выбираться из подвалов. Оглушенные, грязные, измазанные, засыпанные штукатуркой, ошеломленные всем происшедшим люди. За эти полтора-два часа им пришлось пережить поистине нечто чудовищное, и они все еще никак не могут прийти в себя. Стоят у выбитых окон, у сорванных дверей и молча смотрят на проходящих солдат. Есть среди них и люди среднего возраста, есть старики, но больше всего женщин и детей.

Мы останавливаемся поговорить. Как выясняется, все это поляки. Немецкое гражданское население давно эвакуировалось из Зорау. Тут остались только поляки, не хотевшие уходить и решившие ради этого пережить любые ужасы. Проезжаем одну улицу, потом другую. Подъезжаем к костелу. Кажется, это тот самый костел, о котором неделю назад Иван Ефимович Петров, вернувшись с рекогносцировки, говорил, что с него все просматривается и нужно будет первыми же выстрелами разрушить наблюдательный пункт немцев, скорее всего, помещающийся именно здесь. Если он и правда помещался здесь, то теперь от него ничего не осталось. От костела один остов. И кладбище рядом с ним тоже разворочено воронками. Вот уж поистине война не дает покоя даже мертвым!

Заходим в один из уцелевших домов. В соседний дом, в самый центр его, попала бомба, и он обвалился всеми четырьмя стенами в огромную воронку, почти доверху засыпав ее. А этот дом, рядом, устоял. В коридорах и комнатах неразбериха, суэта вещей — этажерки, вешалки, салфетки... И всякая другая, черт его знает как нелепо выглядящая в такой обстановке житейская мелочь. Несколько женщин тол-

пится в комнатах, ходит по коридорам, держа за руки детей. Они напуганы, ошеломлены, забыли о своей внешности, даже не пытаются стереть с лица сажу, известку.

В одной из комнат застаем двух солдат.

— Что вы тут делаете? Барахолите? — спрашивает Ортенберг.

— Никак нет, пришли воды напиться.

— Воды просили пить, воды просили пить, — начинает вслед за ними повторять старая женщина и в доказательство протягивает кружку. Испугалась за солдат, что начальство может несправедливо обойтись с ними.

На одной из улиц встречаем колонну пленных, человек десять. Короткий разговор с ними ничем не примечателен. Но молча отмечаю для себя характерную подробность: у одного из пленных, у ефрейтора, на мундире несколько оборванных шелковинок там, где немцы обычно прикрепляли почетный знак, полученный в память об участии в зимней кампании 41—42 годов в России. Видимо, ефрейтор испугался и наспех сорвал этот знак, забыв выдернуть оставшиеся шелковинки.

На следующей улице встречаем еще одного пленного, которого ведет здоровенный мордатый солдат.

— Где ты его взял? — спрашивает Ортенберг.

— Да тут, в Зорау.

— А как он тебе сдался в плен?

— Да он и не сдавался. Я иду и вижу, он с погребя вылез, да и ползет на карачках между камнями. Вот я его и потянул за шиворот. Чому ж ты ползешь, говорю, что ты, вошь, что ли?

Зорау все больше и больше наводняется войсками и машинами. Саперы с напряженными, вглядывающимися лицами шарят еще своими миноискателями, а сзади уже нетерпеливо гудят грузовики.

Выбираемся через Зорау вперед на запад и едем по уже порядочно забитой транспортом дороге, у начала которой, на выезде из Зорау, на перекрестке стоял столб с надписью на немецком языке: «Лослау, 18 километров».

Проехав километра два с половиной и миновав какую-то деревню, видим на дороге и в придорожных канавах то тут, то там трупы немцев. Спускаем-

ся в лощину, поднимаемся на возвышенность, потом опять едем под горку. И видим стоящих около дороги Петрова и Мехлиса. Их задержало скопление машин. Впереди пробка — стоят грузовики, повозки и танки.

Я подошел к Петрову. Впервые за все время нашего знакомства с ним я видел у него такое счастливое, сияющее выражение лица. Он был не в шапке, а уже по-весеннему — в новенькой полевой фуражке.

— Здорово обработали город, — сказал Петров.

Подошедший к нему Ортенберг сказал, что говорил с немцами и немцы ничего не знали о нашем наступлении.

— Не знали, это точно, — сказал Петров. — Все, кто был здесь, здесь и остались.

Пробка немножко рассосалась. Петров помахал нам рукой и поехал.

Мы вернулись к своему «виллису» и поехали следом. И скоро снова догнали их. Впереди образовалась еще одна пробка.

Сначала, когда мы выезжали из Зорау, мне по первому ощущению темпа наступления казалось, что мы сможем сегодня проехать гораздо дальше. Но уже здесь, на склоне холма, впереди нас слева и справа по полю, развернувшись, шла пехота, должно быть, вторые эшелоны. А где-то, невидимый, за горкой, но совсем близко шел бой. Рвались снаряды, а штурмовики, проходившие над нашими головами, пикировали за этой ближайшей горкой так близко, что если они обстреливали не своих, а немцев, то до немцев было уже рукой подать.

Петров по своему обыкновению в этой обстановке ожидания не столько командовал, сколько наблюдал и оценивал и, если можно так выразиться, приныхивался к воздуху боя. Несколько дней назад я уже писал об этом.

Адъютант Петрова и еще несколько офицеров методично растаскивали пробку, а мы стояли в лощине под деревом, как вдруг прямо над нашими головами свирепо свистнул снаряд. Звук был короткий, быстрый, после которого должен последовать близкий разрыв. Петров, Мехлис, Ортенберг и Альперт присели при этом звуке. А я, грешным делом, даже прилег. Мне показалось, что снаряд разорвется совсем рядом. Но он, просвистев над самыми головами, не

разорвался. Где он упал, черт его знает. Во всяком случае, он не разорвался. Все выпрямились.

— Прошел мимо,— сказал Петров.

Мехлис сказал что-то в этом роде, а я злился на себя за то, что лег. Не мог себе этого простить. Кстати, это обычное чувство на войне. Когда ляжешь, а снаряд разорвется далеко, обидно, зачем лег. Когда кто-нибудь пойдет вперед в опасное место и вернется живой и здоровый, ничего с ним не случится, обидно, что ты остался, не пошел с ним. Когда идут на штурмовку ИЛы, боязно с ними лететь. А когда они возвращаются и их счетом столько же, сколько пролетело в ту сторону, думаешь: «А надо бы все-таки как-нибудь слетать на штурмовике».

Видно, уж такова человеческая природа. После всяких благополучно пережитых тобой опасностей тебе кажется, что ты мог бы быть и более храбрым и менее осторожным, чем ты есть на самом деле. Ну, а по поводу неблагополучно пережитой опасности человек ничего не думает, потому что думать после смерти уже поздно.

Мы подались назад, вверх по склону, метров на двести. И остановились около какого-то каменного строения. Во дворе было много лошадей и бойцов. Пробку на дороге все еще не растащили. Этот дом на гребешке холма был огорожен легким забором, но, как и повсюду здесь, этот легкий забор был укреплен на солидных бетонных столбах. Я облокотился об один из этих столбов и от нечего делать стал разглядывать его. И вдруг среди песка и камешков заметил попавшую в бетон голубую бусинку. Черт его знает, почему иногда обращаешь внимание на такие мелочи!

Мне начинало казаться, что там, впереди, движение затормозилось. Петров был недоволен, нервничал. Мехлис сказал ему, что, быть может, сейчас следовало бы пустить вперед пятнадцать — двадцать танков и с риском потерять их все-таки попробовать прорваться в Лослау именно сейчас, потому что позже на это понадобится гораздо больше сил. Петров согласился, что это стоит сделать. И надо еще выдвинуть вперед полсотни орудий на прямую наводку, чтоб били по городу.

Не знаю, что из этих предложений осуществилось потом, но в тот момент, при мне, никаких приказаний отдано не было.

Все, что преодолело первую полосу обороны немцев, сейчас тянулось вперед по дорогам. И, должно быть, артиллерия, с опозданием снявшаяся после артподготовки, застряла среди этого всеобщего движения.

Бой впереди затихал. Пехота без артиллерии не шла в атаку, и темп наступления понемножку замедлялся. Правда, большая часть танков уже ушла вперед, но до какого рубежа продвинулась пехота, еще не было точно известно.

После первого удачного рывка неожиданности бывают не только плохие, но и хорошие. Иногда, не имея связи, доносят с преуменьшениями, а не только с преувеличениями, как это обычно бывает во время неудачных наступлений.

Петров присел во дворе на телегу и о чем-то молча думал. Мехлис стоял рядом с ним. В этот момент метрах в двухстах от нас на склоне холма разорвался тяжелый снаряд. Вслед за ним еще один.

— Пойдемте-ка поближе к дому,— поднявшись, сказал Петров.

Пока мы дошли до дома, сзади рванулось еще три или четыре снаряда.

— Сейчас еще два положат,— сказал Петров.

Но немцы не положили.

Мы зашли за обратную сторону дома и остановились там.

— Сейчас немцы дорогу расчистят,— сказал Мехлис.

— Как метлой,— подтвердил Петров.

И правда, когда мы через пять минут подошли к изгороди, дорога была уже свободна от повозок, хотя только недавно казалось, что их невозможно разогнать.

— Комендант,— усмехнувшись, сказал Ортенберг про немецкий артналет.

Неподалеку от дома на открытом месте стояли две девушки с винтовками, кажется, санитарки.

— А ну, девчонки, марш за дом,— сказал Петров, обращаясь к ним со своей обычной ласковой, преждевременно стариковской грубоватостью.

Девушки ушли за дом. Дом был полон шоферов и солдат, которые набились в него при первых же разрывах. Немцы больше не стреляли. Как я узнал уже потом, вечером, этим артналетом на двести метров ниже того места, где мы стояли, была разбита

радиостанция, убиты командир артиллерийской бригады и его начальник связи и ранено несколько офицеров.

Минут через двадцать помрачневший Петров молча сел в «виллис» и поехал обратно в Зорау. Оттуда, наверное, на другие участки фронта.

Ортенберг двинулся искать начальника политотдела какой-то дивизии, а я, расставшись с Альпертом, которому нужно было ехать в редакцию проявлять снимки, отправился искать наблюдательный пункт Москаленко.

Чтобы узнать, где он, я сначала заехал на наблюдательный пункт Мельникова. Там уже почти никого не было, кроме начальника штаба артиллерии, который в довольно резком тоне разговаривал по телефону с командующим артиллерией армии. Тот потребовал дать артналет по какому-то населенному пункту, где сидели немцы, но сомневался, что его приказание выполнено. По этому поводу и шло препирательство по телефону.

— Ну, хорошо, ну, пускай я лгу вам, — обиженно говорил начальник штаба артиллерии. — Если так, я вас сейчас напрямик свяжу со своими командирами полков. Выясняйте у них, пожалуйста. Я вам докладываю, что дал шестьдесят снарядов. А если мне не верите, выясняйте!

Он положил трубку и стал шуметь на связистов, требуя, чтобы они подключили командиров полков. С трудом оторвав его на минуту, я выяснил, что наблюдательный пункт Москаленко всего в восьмистах метрах отсюда, по этой же дороге назад и направо. Через пять минут я был уже там.

Несмотря на теплый день, Москаленко сидел в натопленной комнате, а на стене на крючке висела его обычная пудовая бекеша. Епишев полулежал на диване — давала о себе знать рана. Она болела у него при всякой резкой перемене погоды, к лучшему или к худшему, безразлично.

Москаленко находился в том меланхолическом, с некоторым оттенком иронии настроении, которое у него обычно появлялось в минуты вынужденных пауз.

— Неважно идут, — говорил он. — Неважно. Пойдут — встанут, пойдут — встанут... Черт его знает, каким темпом идут. Не хватает самостоятельного порыва. Толкать надо. Печально. Очень печально. При-

ходится на два фронта воевать — с немцами и со своими. А особенно после каждой артподготовки с артиллеристами, чтобы своевременно вперед после этого срывались.

По моим ощущениям, наступление шло как будто неплохо, хотя и не так хорошо, как это показалось после первого броска. Все, кого я наблюдал сегодня, сначала, после предыдущей неудачи, думали о нынешнем наступлении с немалой тревогой. Потом, после первого удачного рывка, поверили, что все дальнейшее пойдет в нарастающем темпе, а теперь были разочарованы тем, что надо опять нажимать, толкать, что снова наступает страдная пора проталкивания и пробивания.

Хотя, в общем-то, обстоятельства складывались благоприятнее, чем в прошлый раз, но того праздника быстрого и решительного разгрома немцев, которого всем так хотелось и о котором после артподготовки и первого рывка все подумали, этого праздника пока что не получалось! Шла обычная тягомотина войны.

Когда я пришел к Москаленко, то он встретил меня шутливой укоризной:

— Ну вот, что ж это вы? Я, можно сказать, НП свой специально так оборудовал, чтобы было что корреспондентам показать, а вы шесть дней не являлись.

Я объяснил, где был все эти дни и где находился с утра сегодня.

— Тем не менее осмотрите все же наш НП,— все с той же улыбкой сказал Москаленко,— а то скоро уйдем с него, поздно будет смотреть.

Я спустился на несколько ступенек вниз по лестнице и оказался в мощном каменном полуподвале, в стене его были прорезаны три щели, и в них установлены стереотрубы, и вообще все было устроено так, как это положено на идеально подготовленных НП. В последнее время, с тех пор, как перестали постоянно чувствовать над головой немецкую авиацию, к оборудованию наблюдательных пунктов, особенно во время наступления, стали относиться все небрежнее, и такие, как этот, были действительно редкостью.

Кстати, забавная подробность. Дверь в подвал была почему-то оклеена плотной черной фотографической бумагой, напоминая не то вход в какой-то

склеп, не то комнату, где проявляют свои снимки фотографии.

— Даже ВЧ сюда провели,— сказал мне вместе со мной спускавшийся в этот подвал адъютант, сказал с такой гордостью, словно это было его личной заслугой.

Когда я вернулся, Москаленко спросил, ел ли я сегодня.

Я сказал, что, в общем, нет, не ел. И он приказал дать мне поесть.

— И выпить дайте,— крикнул он вдогонку, как человек, который, не разделяя, все-таки сочувствует.

Мне дали тарелку с наспех устроенной закуской и водку, о которой Москаленко сказал, что это прекрасная венгерская водка, хотя я убежден, что он сам не только ее не пил, но даже и к носу не подносил.

Я выпил полрюмки этой водки и запил ее крепким чаем.

— Ну что, поедем на новый НП? — обратился Москаленко к Епишеву.

— А где ваш новый НП? — спросил я.

— За Зорау, левее него, на холме. Очень хороший обзор. Когда выезжали туда вперед, приглядел это место для НП. Прямо в воронке его там устроили, в которой уже один раз побывали. Заметили немцы, как на нем погоны блестят,— кивнул Москаленко на Епишева,— и стали стрелять. А мы с ним в воронку. Большая воронка от нашей бомбы. Сослужила, так сказать, двойную службу. Губанов, стулья возьмите, не забудьте,— обратился он к адъютанту.— Хотя и в воронке, а все-таки на стульях. Связь туда уже должна быть протянута. Ну что ж, пошли?

В это время ему позвонил один из командиров корпусов.

— Слушаю,— сказал Москаленко.— Так где же вы, в роще? В какой роще? Нет, все-таки в какой роще? — допытывался он терпеливо раздраженным голосом.— В той роще, про которую вы мне еще два часа назад докладывали, что вы в ней были? Ах, не в этой роще. А в какой же роще? Ах, вот в этой роще.

Он посмотрел на карту. Голос его не менялся.

— Ну, эта роща от той рощи, к вашему сведению, отстоит на двести метров.

И вдруг перешел со спокойного тона на яростный.

— Вперед! — закричал он.— Немедленно впе-

ред! Некрасиво с вашей стороны так поступать, некрасиво, и больше ничего! Неужели же мне вас вперед палками гнать? Какое сопротивление? Никакого сопротивления у вас нет. Втягиваются в лес? Вы мне пять часов назад докладывали, что втягиваются. Вот так вы сами себе дело портите своими неправдивыми докладами. А если б вы мне еще пять часов тому назад сказали, что не втягиваются, что вы не можете войти в этот лес потому, что оттуда сильный огонь, я бы вам дал мощную поддержку артиллерией, и вы бы давно вошли в этот лес и прошли его насквозь. А вы боитесь сказать о заминке, не делаете надлежащего доклада, и из-за вашего неправдивого доклада, из-за таких дураков, как мы с вами, люди жизни кладут.

Я внутренне усмехнулся этой уже не впервые услышанной мною дипломатической формулировке чрезвычайно резкого по существу выговора.

— Ну, ладно, пойдем, — закончив разговор по телефону, сказал Москаленко и с трудом надел тяжелую бекешу. — Почему шинель не взяли? — обратился он к адъютанту.

— Утром прохладно было.

— Да, утром прохладно было, а надо было бы все-таки шинель взять. Захватили с собой стулья?

— Захватили.

— Ну, пойдете. А вы что, с нами? — обратился он ко мне.

— С вами.

— Хорошо. Пошли.

Мы вышли из дома и поехали вперед, через Зо-рау. Зо-рау все еще горел и был забит людьми и техникой, так что мы ехали через город около часу.

По дороге, когда мы застряли в пробке, я увидел дом с какой-то неестественно обвалившейся, выгнувшейся в сторону улицы стеной. Рядом с этой стеной была гора щебня, кирпича, и человек пятнадцать наших бойцов раскапывали эту гору. Рядом с ними стояло несколько женщин.

— Что там? — спросил я.

— Там пятерых детей засыпало, откапываем. Они там голос подают, все живые, в подвале засыпало, но не убило.

Бойцы трудились в поте лица. Один из них скинул гимнастерку и работал полуголый, потный, в полном самозабвении.

вперед в просвете улицы уже виднелась вдали та горка, на которой нам надо было оказаться, и мы пошли пешком.

По дороге Москаленко увидел шмыгнувшего мимо него бойца с белым свертком под мышкой. Боец проскочил и залез в кабину машины, думая, что спрятался от начальства.

— Ну-ка, ну-ка, вот ты, с барахлом, поди сюда, — сказал Москаленко. — Ну, поди сюда.

Боец вылез из кабины и подошел. Свертка он не прятал. Он так и оставался у него под мышкой и состоял из простыни, двух полотенец, полосатой рубашки и кальсон.

— А, белье себе достал, — сказал Епишев.

— Нет, ты мне скажи, зачем ты барахолишь, когда люди там умирают? — Москаленко ткнул пальцем на запад. — А?

— Мы, артиллеристы, отстали, в пробке застряли. Ждем, — сказал боец.

— Вот поэтому вы и отстали и застряли, что барахолите в то время, как другие люди там умирают, — сказал Москаленко.

— Никак нет, — вдруг сказал боец. — Это я себе, чтобы пушку свою протирать, взял.

Москаленко посмотрел на него, на торчавшие из свертка тесемки от кальсон и полосатый рукав рубашки, потом искоса посмотрел на меня. Я был так поражен этим находчивым ответом артиллериста, что не мог не улыбнуться. Москаленко посмотрел на меня, снова на бойца, усмехнулся и сказал:

— Вот черт, даже, что начальству сказать, знает! — повернулся и пошел дальше.

Мы поднялись на холм, у гребня которого действительно была та самая здоровенная воронка. В нее притащили стулья, на один из них сел Москаленко, на другой Епишев, а на третий поставили телефонный аппарат. Но, как выяснилось, телефонной линии сюда не провели, а протянули ее немножко левее, к маленькому курганчику, торчавшему, как пупок, на самом гребне холма. Капитан из комендантской роты подбежал доложить, что наблюдательный пункт устраивается именно на этом пункте, и показал рукой на возившихся там саперов.

— Так что же они там строят? — спросил Москаленко.

— Наблюдательный пункт, — сказал капитан.

— Какой же мудрец приказал им наблюдательный пункт там, на этом пупке, делать?

— Не могу знать, товарищ командующий.

— Прекратить,— сказал Москаленко.— Пойдите и прекратите.

Он уселся на стул и стал ждать, когда подведут телефонную линию сюда, в воронку. Ему сказали, что недалеко отсюда, в нескольких сотнях шагов, есть домик, куда уже проведен телефон и где находятся штабные работники 95-го корпуса. Но Москаленко почему-то не хотел идти туда и упрямо сидел в воронке, наблюдая в бинокль за тем, как на уходившей к юго-западу дороге неподвижно стоит длинная колонна.

— Не двигаются, черти,— сказал он.— Вот ведь безобразие.

Связисты уже бежали по полю и, разматывая катушки, тянули провод. Наконец дотянули его до воронки и стали подключать телефон. Этим занимался офицер-связист, но дело у него что-то не шло, телефон не работал.

— Как, будет у вас телефон работать или нет? — лениво и тихо, но с обещавшим взрыв шипением в голосе спрашивал Москаленко.— Вы скажите, будет или не будет?

— Сейчас будет, уже другой аппарат несут.

— Где он у вас, другой аппарат?

— А вот, несут.

И действительно, через минуту уже принесли другой аппарат и подключили его, но и он тоже не сразу заработал, два или три раза проверяли слышимость.

Наконец Москаленко соединился по этому телефону с тем, с кем ему было нужно, но посреди разговора связь прервалась. Он опять соединился — связь опять прервалась.

— «Волга», «Волга»,— кричал офицер-связист, пытаюсь в третий раз соединиться.

— А ну вас к богу,— сказал Москаленко.— Подем, Елишев, прямо в корпус.

— Товарищ командующий, а как же телефон? Тут оставить или как? — спрашивал офицер-связист.

— Ну как, как? — вылезая из воронки, сказал Москаленко.— За мной же следом ты его не потянешь, значит, оставляй тут. Поехали.

Снова пробившись через пробку, мы проехали че-

рез ту лощину, где немцы днем клали снаряды. Там валялись растерзанные лошади и разбитые повозки. Мы поднялись дальше в гору, миновали ее и остановились в какой-то маленькой деревушке. И тут началась серия разнесов. Сначала Москаленко встретил лейтенанта, командира комендантского взвода.

— Где ваш командир корпуса?

— Не знаю.

— Как же вы не знаете? Что у вас за корпус, что вы не знаете, где командир корпуса, а?

— Не знаю,— повторил оробевший лейтенант.

— Найдите мне командира корпуса.

— Он уехал.

— Так что же вы мне сразу не сказали, что он уехал? Куда уехал? Вперед или назад?

— Вперед уехал.

— Ну, тогда еще ничего. А кто есть тут поблизости?

— Оперативный отдел.

— Найдите мне кого-нибудь из оперативных работников.

Пока лейтенант бегал за оперативными работниками, Москаленко заметил, что по склону возвышенности окапывались бойцы. Один сидел почти у самой дороги в уже вырытом им неглубоком окопчике.

— Что вы тут делаете? — спросил Москаленко. Когда он особенно сильно раздражался, он говорил только на «вы».

— Занимаем оборону.

— Какую оборону? Какую оборону вы здесь занимаете?

— Нам приказали.

— Кто вы такие?

— 73-й батальон штурмовой бригады.

— Где ваш командир?

— Здесь.

— Позовите мне командира.

Через две минуты появился командир, майор с бледно-розовым лицом не то от природы, не то от бега.

— Вы командир батальона? — спросил Москаленко.

— Так точно. Командир 73-го батальона штурмовой бригады, товарищ командующий.

— Что же тут делают ваши бойцы? — шелестящим голосом спросил Москаленко.

— Занимают оборону.

— Какую оборону? — Москаленко, что с ним очень редко случалось, употребил непарламентское выражение. — Какую оборону вы занимаете, когда бой идет в пяти километрах впереди вас?

— Нам так приказали, — оправдывался майор.

— Кто приказал?

— Полковник.

— Не мог он вам такой ерунды приказать.

— Разрешите, товарищ командующий...

— Не разрешу. Сейчас же снимайте отсюда всех ваших бойцов и — вперед. На Лослау, прямо вперед! И забудьте на время этого наступления слова «занимать оборону». Забудьте.

— Так точно, товарищ командующий. Разрешите доложить...

— Не разрешаю докладывать, выполняйте.

Москаленко пошел вперед к деревне, до которой мы немножко не доехали. Майор на несколько секунд задержался около Епишева, объясняя, что он ни в чем не виноват, что это действительно приказ полковника.

— Давайте выполняйте, — сказал Епишев. — Со всем остальным разберемся потом.

И майор побежал назад к своим солдатам, спеша поднять их.

Москаленко, пройдя несколько шагов, столкнулся с шедшим ему навстречу подполковником, начальником штаба 126-го корпуса.

— Что у вас здесь, в деревне? — спросил он подполковника.

— Штаб.

— А почему у вас здесь штаб?

— Здесь командир корпуса приказал быть штабу.

— А где ваш командир корпуса?

— Поехал вперед, в бригады.

— А вы что здесь делаете? Смотрите на то, как свади вашего штаба корпуса бойцы оборону занимают? Да? Раз не умеете руководить людьми, так хотя бы поезжайте вперед, в боевые порядки. Раз вы не можете поднимать людей в бой своим умом и авторитетом, так поднимайте их хотя бы своим присутствием. Поняли меня? Убирайтесь отсюда вперед, чтоб вас тут не было. Оставьте кого-то одного на телефоне, а остальных всех вперед!

— Куда вперед?

— На Лослау. Забирайте этот ваш штурмовой батальон и ведите его вперед.

Подполковник побежал выполнять приказание, а Москаленко зашел в дом и, сев там на телефон, час подряд говорил с командирами и начальниками штабов, корпусов и дивизий, с командующими артиллерией, спрашивал, как кто воюет, называл пункты, по которым необходимо дать огонь... А когда кто-то доложил ему по телефону, что одна из дивизий против ожидания так и не продвинулась, резко крикнул в телефон:

— Так передайте от моего имени этому вашему так называемому командиру дивизии, чтоб он шел в свой батальон и поднимал его в атаку, раз по-другому не умеет им руководить. Раз он по своему уровню может быть только батальонным командиром, так пусть и ведет батальон в бой.

Когда мы уже вышли садиться в машины, снова появился подполковник, начальник штаба корпуса. Оказывается, он за это время успел съездить вперед и докладывал теперь Москаленко, что командир корпуса находится в такой-то бригаде и просит передать командующему, что он обеспечивает сейчас там взятие впереди лежащего леса.

— Обеспечивает взятие, — повторил Москаленко. — Надо не взятие обеспечивать, а пройти через этот лес, в котором нет противника.

— Нет, товарищ командующий, разрешите доложить, противник там есть...

— Вы что, сами его наблюдали?

— Сам наблюдал.

— Что наблюдали?

— Сильный автоматный огонь.

— Сами?

— Сам.

— Передайте вашему командиру корпуса, чтобы он скорей прошел через этот лес. Чем позднее он к этому приступит, тем труднее ему это будет, тем дороже обойдется потеря времени. Поняли?

После этого мы поехали назад и, свернув с шоссе, по ухабистой проселочной дороге добрались до двухэтажного каменного дома, в котором теперь помещался командный пункт 95-го корпуса, того самого, в котором я был с утра. Неподалеку от дома какой-то боец, подвесив на заборе зайца, ловко свеживал его. За оградой разложили костер и что-то варили.

Издали были видны дымки разведенных в разных местах костров. Желудок вступал в свои права. Как это обычно водится, наступление само собой приостанавливалось до завтрашнего рассвета.

Я уже не раз успел убедиться, что в тех случаях, когда наступление не назначается специально почью, а уже идет с самого утра и до ночи, ночью все равно, какие там ни будь приказы, солдаты, как правило, не воюют. И обычно утренние доклады о том, насколько части продвинулись за ночь, зависят не от того, насколько они действительно продвинулись, а гораздо в большей мере от добросовестности начальников, делающих эти доклады, от большей или меньшей меры их правдивости перед лицом вышестоящих.

Командира корпуса на командном пункте не было. Он уехал куда-то вперед.

— Вот черти,— сказал Москаленко,— все время ездят. Вперед или назад, но обязательно так, чтобы командующий на месте их не мог застать. Ну, докладывайте вы,— обратился он к полковнику, начальнику штаба.— Как, знаете обстановку?

— Знаю.

— Точно всю обстановку на данный момент? Знаете? — заметив в голосе полковника нерешительную интонацию, спросил Москаленко.

— Нет, точно не знаю.

— Значит, ничего вы не знаете,— сказал Москаленко не столько злым, сколько усталым голосом.— Поезжайте вперед и толкайте свои части. И чтоб я здесь не видел ни вас, ни вашего штаба. Передвигайте его вперед, двиньте вперед штаб корпуса, штабы дивизий и полков, чтобы все двигалось. Поезжайте.

Полковник забрал свой объемистый портфель и, чувствуя, что возражения ни к чему хорошему не приведут, сразу же отковыряв, уехал.

Кстати сказать, Москаленко обращался к подчиненным на «ты» редко и только в хорошие минуты. Чаще говорил на «вы», а когда сердился, всегда говорил на «вы». А Петров, наоборот, говоривший на «вы» в хорошие минуты, сердясь, обычно переходил на «ты».

Сегодня днем, будучи недалеко от Петрова, я видел, как он распекал того самого командира дивизии

пункте правее Зорау. Я не хотел вертеться перед глазами во время этого разговора и отошел подальше, но все-таки слышал его. Речь шла о том, что дивизионная артиллерия застряла в колонне, а сам Дударев находится не там, где, по мнению Петрова, ему нужно быть, а нужно ему быть гораздо ближе к переднему краю. Дударев возражал, и это рассердило Петрова, и он сразу перешел на «ты»:

— Немедленно поезжай вперед, и никаких разговоров! И сам организуй бой. Что это за командир дивизии, который тут дискутирует... Поезжай и воюй! Знай точно, где твои танки, где твои пушки, где твои солдаты, а не стой тут...

Я и до этого видел, как Петров раздражался и переходил на «ты», но на этот раз он особенно рассвирепел.

Отправив вперед полковника, Москаленко вдруг откинулся на спинку стула, задумался и как-то про себя, чуть заметно усмехнулся. И в эту минуту я, во всяком случае, так мне кажется, вдруг понял одно обстоятельство, которое раньше не мог понять за всю эту поездку с ним.

До этого все его распоряжения — и чтобы штабы перемещались вперед, и чтобы батальон, несмотря на приказ своего прямого командира, сейчас же снимался с места и шел вперед, и другие такого же рода приказания, которые он все время горячо отдавал, — все это казалось мне каким-то не до конца продуманным.

Мне казалось, что, как опытный военный, он должен знать, что в конце-то концов, если штаб передвинется вперед еще на полкилометра, это не принесет такой уж большой пользы. И если командир батальона вопреки прежде полученному от прямого своего начальника приказу со старого перейдет на какой-то новый рубеж, это тоже не сыграет такой уже существенной роли...

А сейчас я вдруг понял: главные, влияющие на весь ход дела приказания Москаленко отдавал с командного и с наблюдательного пунктов, а уже отдав их и выехав вперед, он будоражил людей и подталкивал их в самом прямом смысле этого слова. Наверное, он знал, что батальон, который он снял с обороны во втором эшелоне, не дойдет сразу же до Лослау, а, передвинувшись вперед, остановится и будет ждать дальнейших приказов командира бригады.

Наверное, он знал и то, что в конце концов не так уж важно, на полкилометра ближе или дальше окажется сегодня к ночи штаб 95-го корпуса.

Но при всем этом знании реальностей войны у него в то же время была своя затаенная и вполне практическая цель: ему хотелось взбудоражить, расшевелить людей, чтобы они взволновались, чтобы они, в свою очередь, кого-то другого взбудоражили и подтолкнули вперед. Он не давал людям успокоиться на сделанном и повышал голос, разговаривая с ними, не только из-за своего темперамента, но и потому, что на данном этапе боя ему это казалось полезным и необходимым.

И вдруг, задумавшись и забыв, что на него кто-то может смотреть, он усмехнулся, должно быть, всему тому, что происходило во время его поездки и во что он неизменно вмешивался. Усмехнулся тому, что хотя, в общем, его приказы выполнялись, но все это была война и те или другие беспорядки, как всегда, были частью войны. И ему вдобавок к отдаче приказов приходилось предпринимать все те необходимые действенные меры, которые входят в понятие «толкать вперед». И нажимать, и кричать при этом на тех самых людей, которых он, наверно, наградит после окончания операции!

Из корпуса мы поехали прямо в штаб армии. Саперы уже в полной темноте строили через речку около Зорау еще один мост, уже не временный, а солидный, большей проходимости, и нам уже ночью пришлось еще раз постоять в пробке...

Запишу, чтоб не забыть, две забавные подробности армейского быта.

На последнем из командных пунктов, где мы были, я вдруг увидел солдата, одетого в ушанку, ватник и кирзовые сапоги. При этом на руки у него были натянуты белейшие лайковые перчатки, бросавшиеся в глаза на фоне всего остального наряда.

У запасливых артиллеристов на длинных лафетах что-нибудь обязательно приторочено. На одном лафете приторочена распластанная коровья туша, а на другом были перекинута на ту и на другую сторону связанные за шеи гуси, целый выводок. Они висели низко и, отдав богу душу, жалостливо мели мертвыми лапками землю.

*Записная книжка
за 26.3.45*

Вчера я из-за сломавшегося «виллиса» проторчал весь день в Пщине, но все-таки постарался не потерять его даром. Сделал сорок страниц записных книжек и написал пол-очерка о командире Чехословацкого танкового батальона. Очерк не кончил, свалился спать. Дописывал сегодня с утра, но так и не кончил, решил все-таки ехать на фронт и в одиннадцатом часу зашел перед этим к начальнику штаба армии генералу Воробьеву. Он сказал, что вчера продолжалось продвижение, а сегодня с утра танки ворвались на железнодорожную станцию Лослау и ведут за нее бой.

Я вышел от Воробьева и уже было сел в машину, как вдруг подъехал «виллис» и из него вылез командующий воздушной армией генерал-лейтенант Жданов. Я думал сегодня проехать к летчикам на их передовой пункт наведения и, подойдя к Жданову, спросил, будет ли он там.

— Да, в течение дня поеду,— сказал Жданов.— Но сначала поеду к Еременко, он сейчас на командном пункте у Москаленко.

— Кто это, Еременко? — спросил я, подумав, что это, наверно, заместитель Жданова.

— Новый командующий фронтом,— сказал Жданов.

— Как новый командующий фронтом? — переспросил я.

— Новый командующий фронтом, вместо Петрова.

Я смотрел на него, пораженный этой новостью.

— Да, да,— сказал он.— Сегодня в шесть утра подняли меня срочной депешей от Еременко: «Вступаю в обязанности командующего Четвертым Украинским фронтом. Немедленно явитесь ко мне. Еременко». И все! Поехал в Кенты, в штаб фронта, но там его не было, сказали, что он сейчас у Москаленко. Сейчас пойду уточню у Воробьева.

— Товарищ генерал, задержитесь на минуту, расскажите, как все это произошло,— попросил я, пораженный стремительностью этой перемены.

— Не знаю, как и что, ничего ровным счетом не знаю,— сказал Жданов.

— Грустно,— сказал я.

— Да,— как мне показалось, искренне согласился Жданов, который, насколько я знал, служил с Петровым еще давно в Средней Азии и любил его.

— А в чем дело? — спросил я.

— Не знаю. Даже не было обычной формулы: «Сдаю фронт. Петров. Принимаю фронт. Еременко». Просто: «Вступаю в обязанности командующего Четвертым Украинским фронтом... Еременко». И все. Не знаю, в чем дело. Может быть, всему виной предыдущая неудачная операция. Но она была не такая уж катастрофически неудачная. Не знаю. Жалко старика,— сказал Жданов.

Он так же, как и многие другие, называл Петрова стариком не столько за возраст, сколько за какую-то особенную повадку Ивана Ефимовича держать себя с людьми, которая заставляла говорить о нем «старик». На самом деле крепкому, высокому и молодежавшему Жданову было тоже пятьдесят, они были одполетки с Петровым.

— Подождите меня здесь,— сказал он.— Я сейчас уточню у Воробьева. И, если вы тоже к Москаленко, поедем вместе.

Я стоял у «виллиса» и ждал Жданова. Было какое-то грустное, тяжелое чувство. Прежде всего было жаль Петрова. Жаль очень. Мне казалось, что ему, как это часто бывает на войне, просто не повезло.

Не знаю, не мне судить о масштабах его военных талантов, но он, во всяком случае, был хорошим, опытным военным и большой души человеком. И этот удар должен был поразить его в самое сердце.

Минутами, когда я наблюдал его здесь, на Четвертом Украинском фронте, мне самому казалось, что у него выходит что-то не так, как нужно, и выходит не так и не оттого, что он не талантлив или не умен, а оттого, что он недостаточно резок, жесток и упрям, в самом прямом смысле этих слов, для того, чтобы действовать в соответствии с жесткими обстоятельствами войны.

Мне иногда казалось, что он излишне мягко разговаривает с офицерами в такие минуты, когда они этого не заслуживают, слишком мягко и благородно

относится к ним, взывая только к их рассудку и чувствам, не проявляя жесткой беспощадности и требовательности, как это делают другие.

Мне иногда казалось, что Петров относится к некоторым из подчиненных ему офицеров и генералов так, как должен был бы относиться к идеальным офицерам и генералам, которые, может быть, воспитаются у нас через десять лет после войны на основе всего ее опыта.

А между тем многие из людей, с которыми он разговаривал, которыми командовал, были в значительной мере продуктом военного времени, и с ними, наверное, надо было обращаться, исходя из реального, трудного бытия четвертого года войны, а не по идеальным нормам отношения к идеальному офицеру и подчиненному, как это делал Петров. И когда он это делал, то хотя подчиненные его за это и любили, но в то же время в ряде случаев за это же самое меньше уважали, чем он того заслуживал. Так мне, по крайней мере, несколько раз казалось.

И быть может, его неудачи — конечно, не все, потому что кто бы и что бы ни говорил, а на войне огромную роль играет военное счастье, — но какую-то часть его неудач обуславливал характер его отношения к подчиненным. Обуславливал и неудачи, и даже меньший темп продвижения войск, чем тот, которого Петров мог бы добиться, действуя по-другому.

Может быть, и так, не знаю...

Однако независимо от того, как сам Петров кончит эту войну, преуспеет он на ней или нет, все равно, когда я буду потом писать роман о войне, туда в качестве фигуры командующего фронтом влезет со своими потрохами не кто-то, а именно Петров, верней, человек, похожий на него, ибо независимо от его неудач именно он мне по-человечески нравится. В нем, как мне кажется, присутствует сохранившееся от старого воспитания редкое сочетание какой-то ласковой грубости и простоты с вежливостью и чувством такта; и все это при большой прямоте, принципиальности, преданности делу, самоотверженности, живущих в нем, как в коммунисте, в лучшем смысле этого слова. А плюс ко всему у него какая-то немножко мешковатая, спокойная личная храбрость, которая для меня бесконечно обаятельна...

Конечно, я записал сейчас гораздо больше, чем 133

успел подумать, пока несколько минут не было Жданова. Три четверти всего этого надумал уже потом, в течение всего дня.

Жданов вышел, сказав, что Еременко находится там же, где и Москаленко.

Я развернул «виллис» и поехал вслед за Ждановым. Но, как водится на забытых машинами дорогах, мы вскоре потеряли друг друга, и я его так больше и не видел.

По моим сведениям, наблюдательный пункт Москаленко был в Бродеке, но, уже подъезжая туда, свернув с шоссе на проселочную, мы залезли в непроходимую грязь, и, пока вытаскивали машину, меня взяло сомнение: Бродек был уже близко, а артиллерийская стрельба слышалась где-то очень далеко; если Москаленко и был здесь, в Бродеке, то сейчас уже навряд ли здесь. Он любит выбирать свои наблюдательные пункты поближе к передовой. Мы вернулись на шоссе и на перекрестке увидели тянувших связь бойцов. Я позвонил командовавшего связистами капитана и узнал, что действительно наблюдательный пункт Москаленко не то уже перешел, не то переходит вперед, в деревню Нидер-Сверкляны, на полдороге между Зорау и Лослау, и, кажется, Москаленко уже поехал туда.

Мы поехали в эти Нидер-Сверкляны. В деревне толпились связисты, вдоль домов тянулись провода, а у кирпичного здания, в окна которого уже было протянуто несколько проводов связи, на мягком зеленом плюшевом диване снаружи, у стены, на солнышке, видимо, в ожидании начальства, пригревшись, спал какой-то связист не то ординарец. Словом, все приметы наблюдательного или передового командного пункта были налицо.

У нашего водителя Миши спустил скат, и он, сверхчеловечески ругаясь, выковыривал засевший туда патрон. Пока он возился с этим, мы с Альпертом узнали, что это действительно наблюдательный пункт, но Москаленко еще не прибыл сюда, заехал к кому-то по дороге и должен вот-вот быть.

Зная, что на свете нет ничего более неточного, чем слова «вот-вот», а уж тем более на войне, я предложил Альперту для начала поехать на наблюдательный пункт 95-го корпуса, к Мельникову; по моим сведениям, он помещался километра на четыре левее.основного шоссе, шедшего на Лослау.

По дороге туда видим первую попавшуюся нам на глаза за эти дни немецкую технику — несколько танков и брошенные на дороге орудия. По обочинам и недалеко от них валяются убитые немцы — не слишком много, но и не слишком мало. То есть для человека, который представляет себе современную войну, как Бородинское сражение, конечно, мало. А мне показалось, что много. И я подумал, что немцы вчера и сегодня понесли большие потери.

Все, кто до нас ехал по этой дороге, как всегда, конечно, не торопились убирать валявшиеся на дороге трупы, а просто переезжали через них. Некоторые трупы до неузнаваемости расплющены колесами машин.

За каким-то «Обером» — а «Оберов» здесь такое же неисчислимое количество, как и «Нидеров», потому что все деревни называются сначала «Обер» такая-то, а потом «Нидер» такая-то, а потом снова «Обер», а потом снова «Нидер» и так далее, — словом, за одним из «Оберов» сворачиваем влево, на деревню Поломя. Там должен быть наблюдательный пункт Мельникова. Дорога здесь изрядно избита. Последние километры чувствуется, что наступление прокатилось здесь всего несколько часов назад. Немецкие трупы, убитые лошади с еще не запекшейся до конца кровью. Еще догорающий немецкий бронетранспортер. Наша самоходка, разорванная на три части и тоже еще дымящаяся.

Подъезжая к первым домам деревни, понимаю по звукам боя, что мы втягиваемся в какой-то «язык». Теперь стреляют не только спереди и слева, но и почти что сзади. В деревне дорога издырявлена воронками. На перекрестке стоит дымящаяся «тридцатьчетверка» из Чехословацкой бригады. Слева от дороги лежат наши убитые, накрытые плащ-палаткой, и ничем не накрытые окровавленные трупы немцев. В палисадничке у дороги кто-то стонет. Его перевязывают.

Останавливаемся перед сараем, возле которого стоит капитан.

— Где генерал Мельников?

— Не знаю, — отвечает он. — А вы не знаете, где штаб 95-го корпуса?

— А что? — спрашиваю я.

— Да мне нужно туда отвести двадцать пленных.

Он кивает на сарай, из ворот которого выглядыва-

ют измазанные перепуганные немцы. Я указываю по карте, где штаб корпуса. Он сзади нас километров за восемь.

— Ох ты,— досадует капитан.— Далекое как! А мне их туда вести надо.

Он еще раз повторяет «Далеко!», но думаю, что все-таки, несмотря на это опасное для немцев замечание, он доведет их.

Поломя оказывается чудовищно длинной деревней. Мы проезжаем ее почти всю и на западной окраине чувствуем себя уже где-то недалеко от острия вдавшегося в немецкое расположение клина. Теперь немцы стреляют с трех сторон. Связисты, тянущие провода и знающие обычно больше других, говорят, что командира корпуса надо искать еще дальше, у церкви.

Церковь на пригорке. Она старая, деревянная, напротив нее трехэтажный серый дом, про который нам сказали, что там НП командира корпуса. На доме вывеска, на ней написано, что здесь помещалась местная организация национал-социалистской партии. На первом этаже никого нет. На втором тоже. Я уже начинаю думать, что здесь вообще никого нет, как вдруг замечаю тянущийся вверх по лестнице провод связи. Наверное, наблюдательный пункт там, наверху. Мы с Альпертом лезем наверх, на четвертый этаж, потом на чердак. На чердаке провода связи обрезаны. Должно быть, здесь раньше действительно помещался наблюдательный пункт, но не наш, а немецкий, и эти обрезанные провода — немецкие.

Спускаемся вниз. Как нам сказали, деревня занята всего каких-нибудь два-три часа тому назад. В первом этаже дома, в служебном холле, из двух кожаных кресел уже вырезано по доброму куску кожи. И это подтверждает, что деревня взята недавно. Если бы она была взята вчера, то с этих бесхозных кресел вся кожа была бы уже срезана вчистую.

Выйдя на улицу, видим во дворе церкви чей-то «виллис», которого раньше не было. Находим Мельникова в полуподвале поповского дома. Он сидит там вместе с Дударевым, командиром 351-й дивизии, которого я уже дважды мельком видел позавчера. Оказывается, мы попали не на НП корпуса, а на НП этой дивизии.

Мельников выбрит, застегнут на все пуговицы, в чистеньком желтом пальто с туго затянутым поясом.

Он точно такой же, как в первый день наступления: розовый, основательный, аккуратный, словно только что вышедший из бани и мечтающий выпить залпом три стакана крепкого чая.

Дударев, напротив, замороченный, потный, обросший трехдневной, черной, как голенище, щетиной.

Они сидят с двух сторон стола над одной картой и, должно быть, уже не в первый раз рассматривают ее.

Здоровуюсь с Мельниковым и представляюсь Дудареву.

— Очень приятно,— говорит он, сняв очки.— Я очень люблю некоторые ваши произведения. «Землянку» очень люблю.

Я с сожалением признаюсь, что «Землянка» принадлежит Суркову, хотя и очень нравится мне самому.

— Нет, «Землянка» мне тоже нравится... Нет... я не то хотел сказать. Я это... как его?.. Вылетело из головы. Ну, вы же знаете, что я хочу сказать... Очень люблю это ваше произведение.

— Верно, «Жди меня»? — говорю я.

— Вот именно! «Жди меня»,— говорит он.— «Жди меня, и я вернусь...» Вот-вот, именно это.

Кроме командира корпуса у Дударева сидит еще несколько человек корпусного начальства. Кажется, ему не по вкусу, что у него над душой столько народу. Он очень устал, а дело, в общем, идет, и он его только что толкал, двигал, выезжал в полки, вернулся оттуда... Сейчас он немного отдыхает, а потом — он уже предвидит это — ему снова надо будет ехать и снова толкать и двигать.

Сейчас, в эту короткую паузу, он, видимо, вполне сознательно хочет говорить не о действиях своей дивизии, а об искусстве.

— Вот именно, на Халхин-Голе,— говорит он, когда я напоминаю ему, что мы одновременно с ним были на Халхин-Голе.— Я там читал ваши стихи на счет тапков. У меня и ансамбль там был. Очень красиво их исполнял один из ансамбля. Жуков приезжал, тоже слушал... Очень красиво исполнял...

Он задумывается.

— Вы уж, пожалуйста... Я даже хотел письмо написать. Но вы же сами лично поедете в Москву. Так скажите там, что за безобразие, почему нам все с бомбежкой картины присылают. Что за черт. Ну,

понимаете, сил нет! Пятый раз присылают — и все с бомбежкой. Вот слышите? А? Земля дрожит!

Рядом стреляют наши пушки, а подальше рвутся немецкие снаряды.

— Ну вот,— говорит Дударев.— Наслушаешься этого, а потом опять бомбежкой в кино угощают. Да черт их дер! Пусть они посылают все это в тыл, где этого не видят. А тут дайте нам какую-нибудь человеческую картину. Тоже ж мы люди!

— «Серенаду Солнечной долины» мы смотрели,— говорит начальник политотдела дивизии, маленький курносый человек с детски удивленным выражением лица.— Прелестная картина. Верно, товарищ генерал?

— Ну, конечно! Прекрасная картина. Может быть, и не совсем прекрасная. Но по настоящей ситуации хорошая. Вот так им и передайте. Генерал Дударев для вас, может быть, и ничего не значит, но все-таки, как бомбежку на вашем экране слышит, так уходит и больше не смотрит! И считает, что фронтовики с ним согласны. Что ж, в самом деле. О тыле вы думаете, тылу объясняете, какая она такая, война. А нам? Какой он такой, мир — мы уже о нем забыли,— не хотите объяснить? А надо объяснять, какой он из себя мир, без войны когда он был!

Я отвечаю, что кинопрокат, посылающий на фронт не то, что нужно, как видно, неправильно понимает кинопропаганду.

— Вот именно. Пропаганду! — сердится Дударев.— Меня уже поздно пропагандировать. Вы им это скажите.

Должно быть, тема эта занимает его уже давно и серьезно.

— Или вот еще,— продолжает он.— Был я на Западном фронте. Так вот там журнал «Смех» издавался. Кто-то там карикатуру поместил. Не помню, что было под ней написано, а изображены были повешенные. Какой же тут смех, когда людей вешают? Я им написал письмо, что нечего тут смеяться. Издавайте тогда журнал «Трагедия», будем знать, что читаем!

Этот неожиданный для меня разговор перемежается обменом деловыми соображениями между Дударевым и командиром корпуса.

— Неважно сегодня идете, плохо...— говорит

— Почему плохо? — ворчливо возражает Дударев. — Неплохо идем!

— Нет, плохо, медленно.

— Почему медленно? Прошли за день четыре-пять километров и еще пройдем. Ничего не медленно, — продолжает возражать Дударев все тем же ворчливым тоном.

— И все же надо нажать. Неважно действуете!

— Почему неважно? Тринадцать орудий взяли за утро. Вот, пожалуйста!..

Дударев с торжеством кивает на задрожавшее в эту минуту оконное стекло.

— Вот из немецких бьем, из захваченных 105-миллиметровых, на предельной дальности — и по немцам! А вы говорите, плохо...

— Ну, ладно, кончайте разговор, Дударев. Давай нажимай!

— Я нажимаю, — не сдается Дударев, видимо, привыкший противоречить начальству. — Вот я подтянул артиллерию и нажал. Сейчас пехота пошла. Артиллерию опять подтяну и опять нажму. А пехоте что ж одной, без артиллерии? Ведь нецелесообразно. Что ж нахрапом лезть? Надо сперва подтянуть, потом бить, а потом идти. А потом опять бить и опять идти... Вот и будет все хорошо.

— Ну, давайте мне пункты для бомбежки, — приказывает командир корпуса, прекращая этот разговор.

— Пожалуйста!

Дударев быстро показывает несколько пунктов на карте, которую командир корпуса тотчас же передает начальнику штаба, чтобы тот связался с авиаторами. В это время Дудареву звонят из полка.

— Так, — говорит он. — Хорошо!.. Молодцы!.. Ей-богу, молодцы! — и кладет трубку.

— Еще три 105-миллиметровых орудия в полной сохранности захватили. За день шестнадцать, значит. А вы говорите, плохо!

Снова звонит телефон.

— Огонь дать? — спрашивает Дударев. — Куда? По развилке дорог? А что? Отходят?.. Сейчас дадим.

Он с картой в руках поворачивается к начальнику артиллерии.

— Вот здесь у немца орудия скопились на конной тяге. Действуйте по этому перекрестку...

Еще один звонок по телефону. Начальник штаба полка доносит, что полк выдвигается вперед на Вильхву.

— Пусть в лобовые не ходят,— говорит Мельников.— Позвоните, прикажите им левей обходить.

— Не надо звонить,— говорит Дударев.— Они и так нацелены с самого начала левее.

Входит капитан и докладывает, что взяты пленные из новой немецкой дивизии.

— Конечно,— говорит Дударев,— подбрасывают силы. Этого надо было ожидать. Надо артиллерию подтянуть.

Через пять минут выясняется, что речь идет не о показаниях пленного, а о документах, взятых на убитом.

— Ну, тогда это еще не факт, что новая дивизия,— равнодушно говорит Мельников.— Может быть, просто кто-нибудь из вернувшихся в строй раненых. Немцы теперь всех подряд хватают, кто близко к фронту попал, и сразу на передовую. Затыкают дырки всем, чем способны. Такие номера дивизий могут оказаться, каких давно и на свете нет.

Мельников поднимается, чтобы ехать в соседнюю дивизию. Я тоже поднимаюсь. Мне сказали, что на окраине деревни находится с тремя своими танками командир Чехословацкой танковой бригады. И мне его было бы очень кстати повидать.

— Я еще заеду к вам,— говорю я Дудареву.

— Хорошо.

Я выхожу на улицу. Тут же, на задворках, за церковью, наши артиллеристы действительно лупят из немецких 105-миллиметровых, выкрашенных желтой краской орудий.

— А куда они бьют? — спрашиваю я у начальника политотдела.

— Наверно, по указанным целям,— говорит он, но все-таки, усомнившись, спрашивает младшего лейтенанта: — Куда вы бьете? Не по своим?

— Нет, нам цель дали.

— Кто дал?

— Начальник штаба артиллерии.

— А куда именно вы бьете?

Лейтенант называет пункт, по которому он бьет, и добавляет, что пушки бьют почти на предельной дальности — восемь километров.

— Ну, если на восемь километров бьете,— говорит

начальник политотдела, — тогда наших там, безусловно, еще нет. Как со снарядами?

— Немец бросил много снарядов.

— Тогда бейте.

Мы с Альпертом едем в самый конец деревни к танкистам.

— А у нас индюшка, — с торжеством говорит водитель.

— Какая индюшка?

— Голову ей свернул и в мешок положил. Завтра пожарим, — радуется он.

Что на это ответить? Бедная индюшка уже отдала богу душу и не в состоянии посоветовать своим братьям и сестрам «по перу» не попадаться на глаза распутившимся на трофейных хлебах водителям.

У самого последнего дома деревни встречаем чехословацкого танкиста со свежезабинтованной, подвезанной к шее рукой.

Спрашиваем его:

— Где командир бригады?

— Был тут, — говорит он с легким акцентом. — Но уже пять минут уехал. Может быть, вы его догоните.

— А где штаб вашей бригады? — спрашиваю я.

— Километров за шесть в тыл отсюда.

Ехать в штаб бригады, назад, нет никакого смысла.

Выехав из деревни, проезжаем полкилометра. Дорога идет по узкой лощине. Бой слышится теперь с двух сторон. С одной примерно в километре, а с другой, судя по звукам, автоматной и пулеметной стрельбе, еще ближе.

Выскакиваем на гребень холма. Впереди плохо видно. Примерно в километре горят дома, над ними стоит сплошной дым, и к этому дыму подходят три танка. Должно быть, это и есть танки уехавшего туда командира бригады.

Я злюсь на себя, что не добрался до этого командира бригады на полчаса раньше, и с досады готов ехать вслед за танками. Но Альперт с решимостью человека смелого и именно поэтому не боящегося проявить там, где, по его мнению, следует, осторожность, настаивает на том, чтоб мы не ехали.

Поспорив с полминуты, я после проницательного замечания Альперта, что командир танковой бригады, очевидно, случайно оставил свой «виллис» здесь, а

сам уехал вперед не на «виллисе», а на танке, соглашаюсь, что Альперт прав, и мы поворачиваем обратно мимо каких-то развалин и лежащих около них убитых немцев.

Когда я возвращаюсь, Дударев кончает бриться. Он одновременно добривается, дает разные повседневные, не слишком существенные указания и разговаривает со мной.

Разговор почему-то заходит об остающихся и не остающихся жителях.

— Среди остающихся тоже есть сволочи,— говорит Дударев.— Фольксдойче! Один такой сегодня утром убил моего начальника связи. Шел мимо дома, а тот из винтовки с чердака — и наповал. Ну, мы его вытащили, и я сказал, чтобы расстреляли к черту.

— А вы его допрашивали?

— Да, несколько слов сказал с ним. Он признался, что из немецкой полиции. Да и форма на нем была полицейская, и на рукаве повязка со свастикой. А долго разговаривать мне с ним было некогда. Расстреляли его.

— А кто у него был там, в доме, из семьи?

— Никого из семьи. Только одна жена.

— А что вы с ней сделали? Надо было ее расстрелять,— говорю я.

— Почему?

— Для устрашения, чтобы больше не повторялись такие случаи убийства офицеров.

— Нет, почему же расстрелять,— не соглашается Дударев.— Ведь она женщина. Мы с женщинами не воюем.

— Это, конечно, так,— говорю я.— Но, во всяком случае, надо сделать как-то, чтобы не повторялись такие убийства.

— Нет, все-таки она женщина. По-моему, вы это неверно,— говорит Дударев.— Вот дом я сгоряча хотел сжечь. Даже было приказал, чтобы сожгли, а потом отдумал. Все-таки территория польская, и так мало во всем этом селе целых домов осталось, кому-нибудь еще пригодится жить! Что ж его жечь? Неразумно. А что до его жены, так ее оставили. Передали контрразведке, пусть с ней разберется. А стрелять женщин я никому не позволю. Это вы напрасно сказали,— укоризненно говорит мне Дударев. И за его словами я чувствую человека хотя и ожесточен-

ного войной, но при этом твердо убежденного, что женщин нельзя расстреливать ни при каких обстоятельствах.

Покончив с бритьем, Дударев долго и шумно фыркает, моется...

В это время сообщают, что на НП корпуса находится Москаленко, а этот НП в каких-нибудь пятистах метрах отсюда. Мне хочется повидать Москаленко и спросить его, как идут дела в масштабах армии, и я прошу Альперта съездить туда, проверить, действительно ли Москаленко там.

Альперт уходит, а Дударев обращается ко мне, предлагает мне на скорую руку пообедать.

— То есть, вернее, позавтракать. А хотя в сущности все же пообедать, поскольку обеда сегодня не предвидится!

Отказаться неудобно, хотя это и нескладно вышло по отношению к только что уехавшему Альперту, но что делать.

В ожидании обеда Дударев вдруг начинает ругать барахольщиков.

— Особенно некоторые «боги войны» этим отличаются, будь они неладны. Пехотинец, который впереди идет, он с собою чемодан брошенного барахла не заберет. Не пойдет — в одной руке автомат, а в другой чемодан. Что он? Ну, если повезет, поест до отвала, ну, что-нибудь в свой сидор запихнет. Кстати, чаще всего то самое, что завтра же и выбросит, дальше не понесет! Ну, какую-нибудь занавеску на портянки себе порвет и тут же себе ноги подвернет. Ну, в карман полкилограмма сахара насыплет и потом его вместе с сором есть будет. Я за это никогда ничего никому не скажу. А артиллеристы, те в брошенный населенный пункт заходят после пехоты и раньше начальства. Вот этим некоторые и пользуются. Пехотинец с собой чемодана не возьмет, а этот или на лафет приторочит, или в машину сунет — и все в порядке. Наблюдал таких, которые этим отличаются. А когда увидел у одного такого кольцо золотое на пальце, содрал его с пальца. — Дударев, оттянув рукав, сжимает огромный свой кулачище. — Вот этим кулаком сплющил его и кинул куда подальше. Жалко, конечно, золото. Но что это означает — кольцо на пальце? С кого оно снято? Потому что золотое кольцо — это один раз на тысячу, чтобы кто-нибудь в брошенном доме прямо на столе оставил!

По телефону звонит начальник штаба дивизии. Речь идет о каком-то танковом десанте.

Дударев требует, чтобы десант был посажен на броню без всякого промедления. Я спрашиваю, что это за десант.

Оказывается, в мое отсутствие, пока я искал командира Чехословацкой бригады, пришло сообщение, что танки уже прорвались на западную окраину Лослау, и Москаленко приказал посадить на эти танки десантников из дивизии Дударева и с темнотою прорваться еще дальше к Одера.

— Нет, сегодня до Одера навряд ли дойдем,— говорит Дударев и показывает по карте расстояние, еще отделяющее нас от Одера.— Вот до сих пор сегодня, наверно, дойдем.

В его словах чувствуются хладнокровие и привычка к тому, что на войне не все так получается, как хочется и как первоначально записывается в планах.

— Всеми силами не дойдем, а батальон сядет на танки и прорвется.

В двух котелках приносят еду, и мы наскоро перекусываем.

— Вот, черт его знает, почему-то нам из тыла рыбу не присылают. Прислали б хоть какую-нибудь селедку, чтобы мы об особенностях Советского государства не забывали. Селедка у нас хорошая, а мы о ней уже забыли. Я про икру не говорю. Селедку! Как раз на моем участке однажды венгерский командующий, генерал-полковник Миклош Бела, оказался, так он, пока у нас в дивизии сидел, все интересовался, не намерены ли мы венгров присоединить или оккупировать. А я ему и говорю: да что вы, нет у нас такой цели. Нам дай бог над самими собой поцарствовать как следует... В самом деле, зачем нам ваша земля? Уголь у нас есть, нефть есть, железо есть, алюминий есть... Каучука, правда, нет, так мы искусственный научились делать. А вдобавок еще икра наша, русская, говорю ему в заключение. Да, говорит, прекрасная икра, даже облизнулся. Ему расхвастался, а сами уже полгода селедки не видим. Даже написать об этом куда-нибудь захотел!

В конце пятиминутного обеда опять звонок. Дударев подходит, и хотя я, слушая на фронте телефонные разговоры, часто по первым же словам, по интонациям, по мере разговорчивости или молчаливости

догадываюсь, откуда звонят человеку, снизу или сверху, и если сверху, то какой именно начальник, на этот раз на протяжении всего разговора так и не могу понять, кто говорит с Дударевым. Он разговаривает своим обычным, независимым тоном, голос его совершенно не меняется.

— Так точно, Дударев. Никак нет. Почему плохо? Нет, неплохо воюем. Шестнадцать орудий взяли. В полной исправности. И прошли пять километров... Да, буду двигаться вперед. С утра двигал. Сейчас дообедаю и опять двигать буду. Есть. Ну, что ж Еременко, моя дивизия свою задачу выполняет... Есть. Есть, буду знать!.. Есть...— повторяет он. Видимо, ему хочется как можно скорее положить трубку.— Есть... понимаю... есть!

Положив трубку, он садится за стол, отправляет в рот последний кусок котлеты, одним махом проглатывает стакан компота и, уже вставая, говорит:

— Москаленко звонил. Новый командующий фронтом, оказывается, теперь Еременко. Говорит «Еременко тебе покажет!» Ну, а что он мне покажет, если все идет нормально?

В его голосе ни тени страха или волнения.

— До свидания, увидимся.

— Само собой...

Я уйду от Дударева и, встретив Альперта, еду с ним на НП корпуса, где, как удостоверился Альперт, действительно находится Москаленко.

Москаленко сидит на НП вместе с Епишевым и начальником штаба 95-го корпуса, спокойным украинцем полковником Шубой. Я здороваюсь.

— А вы знаете, что ваш приятель-то уезжает? — говорит мне Москаленко.

По своему содержанию фраза звучит иронически, но в тоне, которым она сказана, иронии нет.

— Кого вы подразумеваете? — спрашиваю я.

— Петрова.

— Да, я знаю, что он уезжает, — говорю я.

— Еременко теперь.

Я молчу.

— Да,— после паузы говорит Москаленко, который, как мне в последнее время казалось, был во многом не согласен с Петровым, в душе выпил его за неудачу предыдущего наступления, и хотя и отдавал ему должное как человеку, но был недоволен им как командующим фронтом.— Неудачно у нас выходит,

неудачно! Посреди наступления все меняется. Уже все в одном направлении разработали, а теперь новые планы появятся, новые направления... Неудачно! — в третий раз повторяет он. — Не вовремя! — И, поворачиваясь к полковнику Шубе, переходя с меланхолического тона на недовольный, говорит: — Все-таки мало вы сегодня прошли.

— У нас трудный участок, — спокойно отвечает Шуба.

— Это верно, — соглашается Москаленко. — Участок трудный, без дорог. Хотя вы, конечно, не моргали, а чужие дороги заняли своей артиллерией — и у правого, и у левого соседа, — так что в смысле дорог у вас с ними так на так вышло. Хотя участок, верно, трудный.

Он спрашивает, когда в корпусе намерены закончить посадку десанта на танки. Шуба докладывает.

— Учтите, — говорит Москаленко, — пока что вам до Одера ближе, чем соседям. Посмотрите на карту. Видите, как он сам навстречу вам изгибается, подходит? Вы должны первыми дойти. А идете все-таки плохо... Вот Бондарев свой корпус за ночь перебросил с одного участка на другой, а уже больше вашего сегодня занял. И это после ночного марша... А ну-ка, вызовите мне авиаторов.

Ему вызывают авиаторов, но слышимость плохая. Тогда он начинает кричать, чтобы ему дублировали.

— Дублируйте... Девушка, девушка... Ты меня слышишь? — почти жалобно зовет он. — Передавай. Вызываю авиацию.

Он звонит назад, в глубокий тыл, а пункты, которые он отмечает на карте, подчеркивая их карандашом, совсем рядом с деревней Поломя, где он сидит.

— Передавай, — говорит он, — и повторяй!

Девушка передает и повторяет ему заковыристые польские и немецкие названия деревень.

— Передавай и дублируй, чтобы штурмовики еще один мощный удар нанесли до вечера... — он называет серию соседних от Поломя пунктов. — А теперь так, — положив трубку, он поворачивается к начальнику штаба корпуса. — Есть сведения, и вы обязаны их знать, что немцами переброшена сюда 8-я танковая. Двумя артиллерийскими дивизионами займите оборону к северо-востоку от Лослау. Организуйте там противотанковый район и поглубже прикройтесь

После этого он начинает звонить в дивизию, которой незадолго до этого придали Чехословацкую танковую бригаду.

— Что это у вас, Савельев (Савельев — условный позывной командира дивизии)? Где у вас чехи? Один батальон в деревне стоит. А почему он до сих пор стоит, а не идет? А второй где? А почему вы плохо используете танки? Или вы используйте танки как следует быть, или я у вас их немедленно отберу за безграмотное использование. И будете действовать одной грудью. А впереди пехоты пойдете сами... Кстати, где вы сами? Уточните мне обстановку.

Его собеседник, видимо, докладывает обстановку неточно. Москаленко, обернувшись к Епишеву и прикрывая трубку рукой, говорит:

— Чувствую, что сидит здесь, через три дома... Где вы сидите?.. Это я знаю, что вы сидите у себя на НП. А где ваш НП? Где впереди? Ах, в Поломя?! Где, на какой окраине? Я хочу к вам приехать. На восточной? Так вы же сидите в полутора километрах саади меня, а ваше место впереди...

На этом кончается его разговор с командиром дивизии, и он приказывает немедленно вызвать командира корпуса, в который входит эта дивизия, очевидно, для крупного разговора.

— Вот как иногда бесстыдно очки втирают! — говорит Москаленко, покусывая тонкие губы и задумчиво глядя перед собой.

Я спрашиваю, занят ли Лослау.

— Донесли, что занят. А что? Хотите ехать?

Я говорю, что попробую.

— Попробуйте.

По дороге на Лослау видим еще несколько разбитых немецких пушек. Потом вдруг слева от дороги на большом заболоченном лугу, дочерна изрытом «катюшами», густо валяется несколько десятков трупов немцев. Должно быть, немцы бежали, когда их накрыли «катюши». Трупы валяются и дальше вдоль дороги, но уже не так густо. Вообще сегодня по ряду малых и больших признаков чувствуется, что наступление, несмотря на медленное продвижение, идет удачнее, чем в предыдущие дни. Именно сегодня немцам нанесены тяжелые потери.

Впереди, в Лослау, сильно стреляют.

До города остается меньше километра. Мы останавливаемся на возвышенности. Дорога спускается

в глубокую лощину, а на другом конце этой лощины, слегка поднимаясь в гору, стоит Лослау.

Перед самой железнодорожной насыпью около Лослау видна залегшая, окапывающаяся пехота. Это зрелище меня немножко удивляет. Но впереди на дороге тихо, и мы уже решаем ехать, когда выскочивший откуда-то из-за дома капитан останавливает наш «виллис».

— Пока подождите, не ездите,— говорит он.— Весь этот участок сильно простреливают. Только что был большой артналет... Видите, пехота залегла. Подождите до темноты, уже недолго.

— А в самом Лослау есть пехота?

— Не знаю,— говорит он.— Наверно, есть. Танки уже часа четыре как прошли туда.

Мы стоим в нерешительности. Справа от нас две батареи 76-миллиметровых пушек бьют куда-то севернее Лослау. А немецкая артиллерия действительно, как нас и предупреждали, начинает бить по ведущей в город дороге. Видно, как на западную окраину города с визгом один за другим заходят наши ИЛы. Летчики пикируют, пуская в ход эрэсы, и под крыльями у них вспыхивают огненные пучки.

Постояв еще минут десять и не решившись ехать сегодня дальше к Лослау, мы поворачиваем назад.

Недалеко от дороги, не замеченная нами раньше, стоит обгоревшая «тридцатьчетверка». На ее дымных изуродованных гусеницах сидят три пехотинца. Двое слушают, а третий играет на маленькой трофейной гармошке «На позицию девушка провожала бойца»...

Проезжаем несколько километров. Темнеет. Остановка. Лопнула вторая за день камера — залез гвоздь. При дороге высится разбитый снарядами фольварк. Заходим в него. Там все перевернуто. По крайней мере, десять или двенадцать снарядов попало в этот дом. Должно быть, там сидели немцы — у окна среди обломков валяются немецкие пулеметные ленты...

В ста метрах от фольварка, у самой дороги, воронка. Около нее лежат окровавленный ботинок, окровавленный кусок плащ-палатки и исковерканный котелок — все, что осталось от человека. А рядом, в двух шагах, насыпан маленький свежий холмик. В головах воткнут столбик, и на нем в большую палисандровую раму, должно быть, взятую из фольварка, вставлен белый картон, обратная сторона какой-то литографии с надписью от руки:

КАСАТКИН — СЕРЖАНТ
БЕЛЯКОВ — СЕРЖАНТ
КОНДРАТЕНКО — ЕФРЕЙТОР
БРОДИЙ — КРАСНОАРМЕЕЦ
ПОГИБЛИ 26.III.1945 ГОДА

Я стою у могилы и думаю об этом мгновенном конце четырех человеческих жизней. Они брали этот фольварк, по ним стреляли из минометов, около них разорвалась мина, они были убиты, и их похоронили в двух шагах от этой воронки, возле того самого фольварка, который через полчаса захватили их товарищи... Захватили, взяли раму, может быть, от портрета Гитлера, может, от портрета какого-нибудь немецкого предка в шюртуке, и вставили в нее обратной стороной какую-то литографию, и написали на ней четыре фамилии, и пошли дальше, вперед на Лослау. А извещения еще только будут написаны и еще полтора или два месяца будут добираться до Иркутска, Новгорода, Полтавы... Вот она, судьба человека на войне во всей ее страшной простоте...

Мы возвращаемся на дорогу. Накачивать шину нам помогает красноармеец 1896 года рождения, с классической внешностью старого солдата, с большими седыми усами и выцветшими густыми бровями. Он помогает старательно, видимо, скучает здесь и не знает, что делать. Потом спрашивает меня:

— Который час?

Я говорю.

— А что ты тут делаешь, отец? — спрашиваю я.

— А я тут у дороги поставлен, чтобы дорогу ровнять, — отвечает он.

Как раз в этом месте дорога поверх разбитого вдребезги асфальта метров на пятьдесят засыпана щебнем, осколками битого кирпича. Когда проходит тяжелая машина, то дорога колыхается, как море, ходит волнами. Как только несколько машин проходит по одному и тому же месту, они выдавливают на дороге глубокую колею. Старик боец поставлен здесь для того, чтобы регулировать движение машин, чтобы они не ехали все время по одной и той же колее. Рядом с продавленной колеей дорогу выпучивает вверх, и старик старается, чтобы следующая машина прошла уже не по колее, а как раз по этому выпучившемуся бугру, тогда бугор рядом с колеей продавливается, и дорога становится опять ровнее. Более легкие машины он пропускает мимо себя, но как

только идет тяжелый «студебеккер», старик бросает качать колесо, выскакивает на дорогу, кричит водителю и показывает ему руками, как нужно ехать. Некоторые водители проскакивают мимо, но большинство слушается и, въезжая на бугры, вдавливают их, ровняя дорогу.

С колесом возимся долго, клеим камеры, меняем, чтобы больше не стоять, накачиваем еще и запаску. Добираемся до Пщины глубокой ночью...

МЕЖДУ ГЛАВАМИ

Спустя четверть века не всякий раз до конца влезешь в собственную душу, не всегда поймешь себя тогдашнего.

Когда перечитывал записанное тогда, хотелось поставить отточие и пропустить ту страницу дневника, где я говорю с генералом Дударевым о жене фашиста, застрелившего начальника связи дивизии. Мне трудно сейчас поверить, что я мог сказать то, что я сказал тогда, что жену этого убийцы надо было тоже расстрелять для устрашения, чтобы таких убийств не повторялось.

Даже пусть это была всего-навсего сказанная в запале фраза, пусть я этого никогда бы не сделал в действительности, но все-таки я ее сказал, эту фразу. А командир дивизии пристыдил меня за нее. Для него была начисто исключена возможность такой кары по отношению к женщине, хотя бы и жене убийцы. А для меня тогда, в сорок пятом году, выходит, нет?

Что во мне заговорило тогда, в ту минуту? Что до такой степени ожесточило? Может быть, вдруг всплывшее воспоминание о Майданеке и о той незабываемо страшной бабе — эсэсовке, надзирательнице, убийце, которую я там допрашивал? Может быть, я вдруг подумал, что жена этого фашиста так же, как и ее муж, способна стать убийцей, что ж ее жалеть?

Не знаю сейчас, как ответить самому себе на все эти вопросы. Но знаю, что так это было. Было со мной и бывало с другими людьми, отнюдь не жестокими от природы.

Горжусь Дударевым и его ответом, стыжусь своих слов, но оставляю их такими, какими они были тогда...

Записная книжка за 24.3.45

С утра я пошел к Ортенбергу и с его помощью узнал, что Петров еще не уехал. Мне очень хотелось повидать Ивана Ефимовича, а вместе с тем казалось, что человеку, который еще вчера был здесь командующим фронтом, полным хозяином, могут быть неприятны какие бы то ни было попытки выразить ему сочувствие. И все-таки не повидать его теперь, после всего случившегося, казалось мне просто невозможным.

Ортенберг, как я и ожидал, посоветовал мне ехать в штаб фронта.

— Допускаю, что ему именно сейчас обременительно свидание с тобой, как и всякое другое свидание,— сказал Давид.— Но, думаю, потом, впоследствии ему будет все-таки приятно, что ты пришел к нему проститься. И от меня непременно передай ему привет. Теперь он уже не командующий, и ему не может прийти в голову, что у меня для этого какие-нибудь корыстные побудительные причины. Он очень хороший человек. Вот уж кому не везет, так поистине не везет.

Я поехал в Кенты к нашим ребятам — журналистам, у которых стоял телефон. Собственно говоря, я не очень представлял себе, как и куда мне звонить. Звонить по телефону командующего — боялся налететь на Еременко. В данном случае это было бы совсем некстати... В конце концов я дозвонился до адъютанта и уже при его помощи связался с самим Петровым.

— Слушаю,— сказал Петров своим обычным ворчливым голосом.

— Здравствуйте, Иван Ефимович, это Симонов говорит.

— А-а, Константин Михайлович, здравствуйте.

Обычно следовали или вопрос «Ну, где ж вы пропадали?», или предложение «Заходите». Сейчас последовала тягостная пауза.

— Иван Ефимович, очень хочу вас повидать,— сказал я.

— Только попозже,— сказал он.— Вы попозже можете?

— Конечно. Я для этого в Кенты приехал. Буду сидеть здесь, ждать.

— Часов в пятнадцать, хорошо?

— Хорошо. Буду ждать.

— А где будете ждать?

Я сказал, что буду сидеть у журналистов.

— Я вам позвоню,— сказал Петров, и на этом разговор закончился.

Ровно в три, с обычной точностью, раздался звонок.

— Константин Михайлович?

— Да.

— Петров говорит. Приходите. Жду.

Во дворе домика, где жил Петров, было тихо. Ходил только один часовой. И мне почему-то бросилась в глаза случайная, может быть, подробность: это был не автоматчик, а часовой с винтовкой.

Я прошел в приемную. Там сидел только один из ординарцев, которого я и раньше встречал у Петрова.

— Кто-нибудь есть у генерала армии? — спросил я, обходя слово «командующий» и думая о том, что это слово надо будет обходить и в дальнейшем.

Оказалось, что у Петрова сидит секретарь Военного Совета.

Через несколько минут он вышел, а я вошел.

Петров сидел за столом, так же, как и всюду, где он бывал, накрытым огромной картой. Он поднялся мне навстречу. Поздоровались. Наступила пауза. Потом Петров сказал:

— У Москаленко-то ничего пошло дело! Двигаются понемножку.

Я сказал, что да, двигаются.

— Вы где были-то?

Я сказал, где был.

— Да,— сказал Петров.— Хорошо как будто пошло. Если за сегодняшний день и за ночь подойдут к Одеру, то в ближайшие дни могут взять Моравску Остраву.

— В ближайшие дни? — переспросил я.

— Да. Тут будет одно из двух. Если нам удастся в ближайшие дни форсировать Одер, немцам неоткуда сейчас взять резервы. Чтобы подтянуть их из глубины и в большом масштабе, им понадобится хотя

бы два-три дня. А теми резервами, которые они имели под рукой, они уже воспользовались. Рассчитывали на 8-ю танковую и на 16-ю танковую. Но их уже расщелкали. 751-я пехотная в начале боев была у них свежая, но ее тоже разбили. Так что в ближайшем тылу у них не должно быть резервов. Но если день-два не форсировать Одер, эти резервы могут появиться, тогда будем сидеть под Островой.

— А сколько еще осталось до Одера? — спросил я без раздумий. Кому же, как не Петрову, это знать!

И лишь в следующую секунду вспомнил, что он уже не командующий фронтом и может не знать последней обстановки.

Но я оказался не прав.

— Сейчас я вам покажу, — сказал Петров и провел карандашом по карте. — Вот здесь и здесь осталось всего по пять километров. Час назад мне звонил Москаленко. Ночью могут пройти эти пять километров.

Он сделал еще несколько замечаний, касавшихся общего положения на фронте, и мне стало совершенно очевидно, что он не только не желает сам говорить ни о чем, связанном с его отъездом, но и не желает, чтобы на эту тему говорил я. Мне даже показалось, что наш разговор вообще не коснется этого. Но Петров, рассказав о положении на фронте, вдруг спросил, как о самом естественном:

— Как, поручения в Москву будут?

И в этом вопросе сказался весь его такт. Он разом дал мне понять, что прекрасно понимает, что я уже наслышан о происшедшем, но что он не намерен касаться этого, а просто, как старый знакомый, раз едет в Москву, предлагает, чтобы я, если захочу, воспользовался этой оказией.

— А когда вы едете? — спросил я.

— Сегодня вечером. До Кракова на машине, а оттуда поездом. У меня свой вагон.

— Спасибо, — сказал я. — Тогда я сейчас схожу, напишу письмо и отдам вашему адъютанту.

— Хорошо, — сказал он.

В кабинет вошел генерал-лейтенант Кариофилли, командующий артиллерией фронта. Петров пригласил его присесть и спросил меня:

— Ну, как, если взять все в целом, довольны вы этой поездкой? Много сделали?

Я ответил, что передал по телеграфу три корреспонденции, готовлю четвертую, а главное, собрал много материала, в том числе материал к повести, которую я хочу написать. Я коротко сказал ему об истории с партизанским доктором Юлием Бернардом и, поняв, что после прихода Кариофилли мне не к чему задерживаться, пора оставить их вдвоем, встал и попросил разрешения уйти.

— Всего доброго, — сказал Петров, протягивая мне руку.

Мне хотелось ему сказать разные хорошие слова, но от этого удерживало присутствие Кариофилли. И я лишь немного задержал руку Петрова и пробормотал, что благодарен ему и надеюсь скоро увидеться.

Когда я вышел, у меня в душе была какая-то пустота. Раз Петров ехал отсюда в Москву не спеша, поездом, значит, бродившие у меня до этого мысли, что, может быть, его просто назначают на какую-то другую должность, отзывают в Москву для другой работы, были самообманом. Его не переводили, а снимали, и он ехал теперь в распоряжение Ставки, и неизвестно, долго ли, коротко ли, но будет не при деле, а в конце войны это особенно горько.

По внешнему виду Петрова нельзя было заметить, насколько сильно он нервничал и переживал случившееся. Во всяком случае, он выглядел как человек, твердо решивший держать себя в руках. Даже тот нервный тик после контузии, который подергивал его лицо, когда он волновался, сейчас не был заметней, чем обычно. Он был человек как человек, точно такой же, как всегда, и, не зная заранее всего происшедшего, я, придя к нему, ровно ничего не заметил бы по его поведению.

Может быть, и некстати, но мне вспомнился один рассказ, связанный с нервным тиком Петрова. Получилась эта история с одним командиром дивизии на Втором Белорусском фронте. Командир дивизии никогда раньше не видел и не знал Петрова, а Петров, когда был назначен командовать Вторым Белорусским фронтом, после предшествовавших этому переживаний, страдал своим тиком сильнее, чем обычно, и часто и быстро подергивал при этом головой. Командир дивизии рассказывал об этом примерно так:

— Приехал ко мне командующий. Спрашивает, как я предполагаю наступать на своем участке. До-

кладываю ему: так-то и так-то. Кивает. Молчит. Снова кивает. «Дальше докладывайте»,— говорит. Разворачиваю карту. Докладываю. Снова молчит, снова кивает. Вижу, соглашается со мной. Ну, у меня на душе уже легче, я ему предлагаю свой план во всех подробностях. Он кивает. Чувствую, со всем согласен. Потом спрашивает меня: «Все? Закончили?» — «Закончил». — «Очень неразумный план. Очень неверный план,— говорит,— составили. Плохо продумали. Еще подумайте. После этого еще раз буду с вами говорить». И вышел, устроив мне этот разнос. А все время кивал. А я, не поняв, в чем дело, подумал о нем: вот странный человек!..

Я зашел на квартиру к корреспондентам. Сначала написал письмо домой, а потом меня все-таки потянуло написать на прощанье несколько теплых слов Петрову, таких, чтобы не оказаться при этом бесцеремонным и не копаться в чужой душе. Написал и отнес оба письма.

У Петрова кто-то был в кабинете. А в приемной сидел и ждал очень полный генерал-лейтенант. Когда я повернулся уходить, он спросил меня:

— Откуда вы, товарищ подполковник?

Я объяснил.

— Будем знакомы. Корженевич.

Так я познакомился с начальником штаба фронта, о котором много слышал, а увидел его впервые только теперь.

Выходя из дома, я встретил на пороге Кучеренко, старшего ординарца Петрова. Кучеренко был спутником Петрова везде и всюду с первого года войны. Этот толстый храбрый, обычно говорливый украинец выглядел сейчас ужасно. Он как-то осунулся, почернел. Я почти не узнал его в первый момент. У него был не только совсем другой, тихий, глуховатый голос, но и другое выражение лица. Наверно, потому, что раньше постоянная улыбка была неотъемлемой частью этого лица, а сейчас ее словно вдруг и навсегда стерло. Глядя на Кучеренко, я понял не только то, как сильно переживает он, но и как сильно переживает случившееся сам Петров. Видимо, все было плохо, очень плохо.

Я попросил Кучеренко передать письма, простился с ним и ушел.

Вечером, закончив и передав по телеграфу корреспонденции, я ужинал у Ортенберга, когда мы ус-

лышали по радио приказ. Приказ был дан Первому Украинскому фронту за город Рыбник. Падение Рыбника ожидалось с часу на час, это не было неожиданностью и не удивило нас. Очевидно, 60-я армия заняла Рыбник после того, как немцы вынуждены были отступить из города под угрозой все более глубокого охвата их 38-й армией Москаленко.

После приказа передавали сводку. В сводке среди прочего отмечалось: «Северо-восточнее города Моравска Острава войска Четвертого Украинского фронта в результате наступательных боев заняли города Зорау, Лослау и более сорока других населенных пунктов...» Никакого приказа за это не было. За Рыбник был, а за это нет.

Ортенберг расстроился. Наверное, еще сильнее расстроился Москаленко, у которого сосед справа вырвал из-под носа салют. За Зорау и Лослау уже четвертый день шли тяжелые бои, было убито и ранено несколько тысяч человек. А в оставленный немцами Рыбник, наверное, вошли именно потому, что были заняты Зорау и Лослау. А между тем салют на этот раз был Курочкину, а не Москаленко. Так бывает на войне нередко. И хотя, казалось бы, пора было привыкнуть относиться к этому философски, люди, которых это затрагивало, все равно каждый раз огорчаются...

МЕЖДУ ГЛАВАМИ

Несколько слов о справедливости в оценках действий войск. В дни войны, в горячке боев, в спешке донесений и составлении приказов на основе этих донесений порой трудно было взвесить на безошибочной точности весах меру вклада тех или иных войсковых частей в достижение того или иного успеха.

Но тем более важно, когда хорошо знающие эту сторону дела военные люди, вспоминая о войне спустя много лет, уточняют прошлое и при этом, когда того требует историческая справедливость, уточняют его в пользу соседа.

Именно такое уточнение, связанное с событиями на стыке Четвертого и Первого Украинских фронтов в конце марта 1945 года, я нашел в книге маршала Конева «Сорок пятый», и мне хочется процитировать здесь его слова:

«Мы продолжали продвигаться, но по-прежнему крайне медленно. Из дня в день шли упорные бои за овладение небольшими населенными пунктами, узлами дорог, высотами и высотками. Войска несли немалые потери. Это, естественно, вызывало чувство неудовлетворенности. Операция протекала явно не в том духе, не в том темпе, не на том уровне, на которые мы вправе были рассчитывать, исходя из собственного опыта, из своего совсем недавнего боевого прошлого. Но вот 24 марта после некоторой паузы левее нас, в полосе Четвертого Украинского фронта, возобновила наступление 38-я армия под командованием боевого командира К. С. Москаленко. Своими решительными действиями она изменила обстановку на левом фланге 60-й армии. Для противника создавалась угроза окружения в районе Рыбника и Ратибора. А у нас возникли благоприятные предпосылки для штурма этих городов. 60-я армия взяла Рыбник...»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Затесная Киньска за 28.3.45

С утра диктовал, а в 12 дня мы с Альпертом сели на его маленький «опшелек» и поехали в Рыбник. Вместе с нами на «виллисе» поехал корреспондент «Красной звезды» Бойков. Решив ради экономии времени поехать дорогой, которая подлинней, но получше, мы двинулись сначала на Гинденбург, потом по шоссе на Ратибор и еще раз свернули на Рыбник. Сделав километров шестьдесят, мы через полтора часа увидели впереди за лесом фабричные высокие трубы Рыбника и уже подумали, что вот-вот въедем в город, но не тут-то было. Недавний передний край проходил вдоль отделявшего нас от Рыбника леса, и дорога была преграждена здесь минными полями и огромными завалами. Пришлось свернуть вдоль леса в сторону, по слабо наезженной лесной дороге. Мы долго плутали по этой дороге между деревьями, среди окопов и блиндажей, переехали в двух местах по брев-

нам пересекавшие дорогу линии траншей, объезжая лес, намотали себе на карданный вал целый пучок проволоки МЗП¹, долго, лежа под машиной, кусали ее плоскогубцами и наконец выехали на открытое место, за которым начинался Рыбник.

Это была низкая болотистая пойма с двумя ручейками, которые пешком можно было перейти по колесу, но переехать из-за вязкой почвы нечего было и думать. Через первый ручей были перекинута кое-как сбитые бревна и доски, на которых застрял санитарный автобус. Рядом, застряв в воде по сиденье, стоял увязший в ручье «мерседес». Хозяин «мерседеса», должно быть, ушел вперед пешком, а водитель, поджав по-турецки ноги, сидел на крыше кузова, скептически наблюдая за безуспешными попытками пропихнуть по доморощенному мосту автобус.

Мы вылезли из машины и прошлись взад и вперед по берегу ручья. Место это производило унылое и странное впечатление. Под взорванным железнодорожным мостом образовался стоячий пруд, вокруг которого лежало несколько трупов, почти все головами в воду. Около наших машин тоже лежал черный распухший труп с оторванной ногой. Одет он был во что-то непонятное, черное, не похожее ни на нашу, ни на немецкую форму. Подле него валялась искалеченная винтовка немецкого образца. С другой стороны ручья лежал еще один совершенно обугленный труп. Почему обугленный, неизвестно. Тут же валялись винтовка и лопата, а рядом в земле была вырыта неглубокая ямка, должно быть, в последнюю минуту перед смертью этот человек отрывал себе окопчик. Еще один труп, тоже в непонятной одежде... Наверное, это были фольксштурмисты, неизвестно когда погибшие здесь. Трупы уже сильно разложились. Скорее всего, этих людей убило еще несколько дней назад каким-нибудь внезапным огненным налетом, и про них забыли, и никто не убрал их, ни отступавшие немцы, ни наступавшие наши. Унылая картина! Разбитый, свалившийся в воду мост, полузатонувшие трупы, распухшее тело с оторванной ногой и вдобавок ко всему этому беспросветно серое небо и дождь...

Вытащить санитарный автобус помогало человек десять или двенадцать гражданских поляков, бедно

одетых, но в шляпах. Водитель автобуса и ехавший с ним, а теперь вытаскивавший автобус старшина кричали друг на друга и на поляков: «Эй, паны, ну, паны, ну, давай! Паны!..» Наконец автобус удалось сдвинуть, и он, развалив за собой бревна, выскочил вперед, доехал до второго ручья и снова застрял там. И оттуда снова послышалось: «Эй, паны! Давай, паны!» Под эти раздававшиеся впереди крики мы потихоньку заново уложили бревна и доски и протаскивали по ним сначала «оппель», а потом и «виллис».

За это время поляки во главе со старшиной под бодрые крики вытащили наконец санитарный автобус из второго ручья, и мы, на этот раз только подтолкнув свои машины, выехали вслед за автобусом. И эта одичалая, забытая богом ничейная земля между нашим и немецким передним краем осталась у нас за спиной.

В город мы въехали около четырех часов. Как и большинство здешних городов, он производил впечатление чего-то угрюмо одинакового, и это впечатление еще усиливалось тем, что, не будучи особенно сильно разрушенным, он был дотла разорен. Домов, вдребезги разбитых войной, было сравнительно мало. Многие были повреждены снарядами, а остальные просто-напросто разорены: разбиты витрины магазинов, разбиты стекла, выворочены двери. Бумага, осколки стекла, оборванные провода, разбитые аптекарские банки, высыпанные на мостовую химикалии. Все это никак не могло произойти за один день — со вчерашнего вечера до середины сегодняшнего дня. Очевидно, город был уже мертв все те два месяца, пока передний край проходил непосредственно рядом с ним.

На одной из окраин на въезде стояло несколько наших сожженных танков и самоходок. Дома кругом все были избиты снарядами. В асфальте зияли воронки, валялись остатки совершенно разложившихся за два месяца трупов — и наших, и немецких. Все эти люди погибли уже давно, когда наши в первый раз ворвались на окраину Рыбника, а на завтра были выбиты отсюда. И это место находилось потом под постоянным двусторонним огнем. Таким, что, очевидно, ни наши, ни немцы не могли вытащить из этой ничейной зоны трупы. А может, под жестоким огнем и не очень стремились к этому.

Мы заехали к коменданту. Комендатура помещалась в маленькой уцелевшей комнатке на третьем этаже углового дома. Коменданта не было на месте. В комендатуре сидел и ждал его какой-то генерал-майор в фуражке с артиллерийским черным околышем.

Он спросил, кто мы. И когда мы ответили, выяснилось, что он представитель Москвы по обнаружению и фиксации немецких военных заводов в этом районе.

Он сказал нам, что в Рыбнике уже обнаружен большой завод фауст-патронов. Он производил не смесь для зарядов — эта смесь производилась в Германии, — а корпуса фауст-патронов. Несколько десятков тысяч этих корпусов остались на заводе. Завод начал работать только в конце декабря 1944 года, а уже 25 января 1945-го, когда мы подошли вплотную к Рыбнику, вынужден был прекратить работу, выпустив только пятьдесят тысяч корпусов фауст-патронов — свою первую месячную программу.

— Как будто тут должен быть еще и танковый завод, — сказал генерал. — Имею сведения, что должен быть. Но где? Будем искать по лесам. Может быть, где-нибудь там спрятан. Они после усиления бомбардировок многое по лесам попрятали. Не только заводы, а целые заводища. Наверное, и тут так!

И генерал снова заговорил о фауст-патронах.

— Это очень серьезное оружие, — сказал он. — А метод его применения мы здесь наблюдали. Ожидая нашего прорыва в город, они заранее складывали фауст-патроны у окон на вторых этажах домов, главным образом, выходящих на важные перекрестки. Таскать все время с собой фауст-патроны, отступать, перебегать с ними трудно. Но все эти окна, у которых были заготовлены фауст-патроны, были заранее известны солдатам той немецкой части, которая оборонялась в этих кварталах. Отступая, немцы забегали в эти дома на вторые этажи, находили у окон готовые фауст-патроны и стреляли по нашим ворвавшимся в город танкам. А танк, если он ворвался и идет по улице без пехоты, сжечь, сидя наверху, на втором этаже, почти ничего не стоит...

Мы вышли от коменданта, так и не дождавшись его. Где-то недалеко за городом громыхал бой.

Я хотел проехать отсюда, из Рыбника, прямо на Лослау. Там, недалеко от Лослау, около деревни

Радпюк теперь помещался наблюдательный пункт Москаленко. И по карте туда было всего тринадцать километров хорошей дороги, если напрямик. Но была ли эта дорога очищена от немцев, неизвестно.

Вчера вечером на ней сожгли офицера связи вместе с его «виллисом». С тех пор прошли уже почти сутки, паверное, дорога свободна, но я все же решил кого-нибудь спросить.

Попавшийся нам навстречу майор, уполномоченный СМЕРШа 60-й армии, сказал мне, что этой дорогой мы не проедем, потому что примерно в шести километрах от Радпюка дорога на километр-полтора еще оседлана немцами и 38-я и 60-я армии до сих пор еще не соединились там.

Мне это показалось маловероятным, потому что, по моим представлениям, бои с немцами шли уже где-то дальше, на несколько километров правее этой дороги, но лезть на рожон и проверять точность сведений майора на собственной шкуре не хотелось, и мы решили взять в объезд, в крайнем случае, даже через Зорау.

Возвращаться тем же путем, каким мы ехали сюда, и снова сидеть в болоте нам не улыбалось. Поездка выходила какой-то на редкость неудачной, а дело тем временем шло уже к вечеру...

Мы выехали за город, на дорогу, ведущую к Зорау. Шоссе было хорошее, асфальтовое, но пустое. «Виллис» Бойкова зачихал, водитель почти полчаса возился, исправляя его, и за все это время нам навстречу показалась всего одна машина. Мы остановили ее. Водитель ее сказал нам, что прямой дорогой на Зорау ехать нельзя, она где-то дальше преграждена и заминирована. Но в двух километрах отсюда есть какой-то поворот направо, туда надо свернуть и выехать на деревню Обер, которая стоит по дороге между Зорау и Лослау.

Мы тронулись и уже после этого встретили еще одну машину. Водитель этой машины подтвердил, что сворачивать действительно надо, но ехать потом на этот Обер нельзя, потому что дорога как раз там и минирована, а нужно просто свернуть с шоссе, по которому мы едем, объехать минированный участок и снова выехать на него. Словом, как это часто бывает, как именно надо ехать, понять было трудно!

Мы поехали вперед по шоссе и остановились у поворота на проселок. Он был слабо наезжен, но все же

чувствовалось, что машины тут проходили. Поляк, сидевший у окна на втором этаже одного из домиков, стоявших вблизи этого поворота па проселок, когда мы спросили его, как нам ехать на Зорау, сказал, что ехать надо прямо по шоссе.

— А ходят туда машины?

— Ходят,— сказал он,— ходят туда машины.

Мы послушались его и поехали вперед по шоссе. Через километр наш водитель резко затормозил. Прямо перед нами валялись обломки «студебеккера», колеса, куски мотора и кузова и отдельно от всего этого прямо на земле стояли сорванное шасси и почти целая кабина. Около кабины на земле сидел красноармеец с винтовкой, которого мы сначала приняли за специально поставленного тут человека.

— Нельзя ехать,— сказал он.

— А для чего вы тут поставлены?

— А я вот ее водитель,— сказал он, спокойно кивнув на то, что было «студебеккером».

— Это вы взорвались?

— Мы взорвались,— сказал он равнодушно и снова сел на землю.

Мы осторожно развернулись и поехали назад, кипя негодованием против направившего нас сюда поляка.

Он так и сидел по-прежнему у окошка в домике на перекрестке.

Альперт начал на него кричать, зачем он нас туда послал, но тот упорно повторял свое, что машины туда шли.

И я вдруг сообразил, что он говорит святую правду.

— Брось на него кричать,— сказал я Альперту,— он же как раз и говорит о той машине, что там взорвалась. Она мимо него как раз и прошла!

Мы свернули направо, на проселок, и проехали по нему километра четыре. Свернули на другую проселочную и ехали по ней до тех пор, пока следы двух прошедших перед нами грузовиков не довели до того места, где они оба развернулись и поехали обратно. Здесь произошло маленькое препирательство между тремя корреспондентами, но я, проверив по карте, что нам осталось от силы каких-нибудь три километра до шоссе, на которое мы должны выехать этим проселком, стал доказывать товарищам, что навряд ли этот проселок минирован. Вдоль него и по сторо-

нам от него нигде не видно никаких следов ни обороны, ни боя.

Наконец мы подъехали к какому-то неудачно, а для нас, наоборот, удачно взорванному мосту. Он только завалился набок, но по нему, очевидно, все-таки можно было проехать. Дальше, за этим мостом, вообще не было видно никаких следов, даже следов повозок. Справа виднелись какие-то безжизненные, однообразные, маленькие, фабричного типа домики, слева был лес...

Не знаю, что бы мы предприняли, если бы я не увидел вдруг впереди, в конце просеки, что-то похожее на стоящую там машину. Она стояла там, а потом тронулась нам навстречу, переваливаясь, переползла через мост и остановилась около нас. Ехавшие в кабине военные спросили нас, есть ли тут дорога на Рыбник. Мы ответили, что есть, и в свою очередь, спросив, как доехать до Лослау, услышали, что едем правильно.

Поехали дальше; теперь все обстояло вроде бы совсем благополучно. Но вдруг при въезде в еще один лес наша машина затормозила. Перед самым въездом туда дорога была негусто, в шахматном порядке заминирована. Должно быть, немцы торопились, и деревянные колодцы, в которые они заложили мелкие мины прямо на дороге, примерно метрах в полутора друг от друга, были лишь прикрыты дощечками и чуть-чуть присыпаны землей. Но не заровнены до конца, так что наш водитель их сразу заметил.

Я вылез и, как это обычно делается, когда надо проехать узкое место, стал показывать руками, как выруливать, чтобы машины прошли между колодцами.

Через несколько минут мы благополучно выбрались на дорогу, шедшую к Лослау, а еще через полчаса я уже сидел у Москаленко на его наблюдательном пункте, в маленьком домике, метрах в пятистах от железнодорожного полотна.

Москаленко сказал мне, что к Одеру мы ни за вчера, ни за сегодня по-прежнему еще не вышли, хотя на одном участке находимся уже всего в трех километрах от него.

— Вот, смотрите, — Москаленко показал на карту, — как они нас облепили со всех сторон. Мы, вот видите, куда полезли, а они нас облепили. Тут их

8-я танковая, тут 16-я, тут 19-я, тут пехотные... Куда ни повернешься, всюду уже облепили.

— А как вы думаете, они будут удерживать этот свой плацдарм за Одером? — спросил я про немцев.

— И да и нет, — сказал Москаленко. — В конечном счете, основная оборона проходит у них по тому берегу. Но они постараются подольше продержаться нас вдали от реки, чтобы мы ее не видели, чтобы не могли готовить через нее переправы с полным знанием места и всех привходящих обстоятельств. Если мы подойдем вплотную к реке, то не там, так здесь можем прорваться через нее. Вот они и хотят помотать нас еще до подхода к реке. Переправу через нее будет готовить нелегко, значит, нужно подойти к реке и остановиться, потом готовить... Поэтому немцы и стараются задержать нас до подхода к реке. В этом весь смысл!

Оторвавшись от разговора со мной, Москаленко дал приказание артиллеристам бить по каким-то двум дотам на высоте 247.

— Целый день не можем взять сегодня эту высоту, — сказал он. — Хорошо хоть, что сегодня южнее ее прорвались к рокадной дороге. Немцы по ней взад и вперед гоняли свои танки, а теперь уже гонять не могут. Одни танки у них южнее, другие севернее, а середина дороги у нас. Маневрировать танками они уже не в состоянии.

В ответ на мой вопрос, куда лучше поехать завтра с утра, Москаленко посоветовал поехать в корпуса Бондарева и Мельникова.

— Они все-таки в общей сложности почти 200 орудий завхватили и 2000 пленных. На 2000 пленных, считайте, 4000 убитых, на 6000 пленных и убитых, по самым скромным подсчетам, приходится еще столько же раненых. Значит, общие потери 12 000. Для немцев сейчас и здесь это серьезные потери. Они сильно побиты. Но утешаться этим рано. Задача еще не выполнена.

К командующему вошел генерал-майор авиации с красивым и грубым лицом старого фельдфебеля. Лицо было перерезано глубоким шрамом.

Между ним и Москаленко начался разговор о том, что сегодня ночью надо бомбить у немцев район переправ и освещать мосты, выясняя, какое там движение идет ночью.

спросил Москаленко у авиатора.— Так пусть всю ночь светят! Чтобы когда немцы будут ночью идти и ехать по мостам, чтобы не споткнулись, чтобы гвозди объезжали. В общем, чтоб нервничали. Понятно? — перестав улыбаться, серьезно сказал он. И показал по карте пункты, которые надо бомбить завтра с утра.

— Но я пока еще не знаю, сколько будет работать у вас нашей авиации,— сказал генерал-майор.— Командующий фронтом приказал готовить авиацию для Гречко.

— А она будет у него действовать? — спросил Москаленко.

— Должна завтра действовать. Пока еще окончательной команды нет, но должна.

— Ну, так если будет там действовать, сколько же вы мне дадите? — спросил Москаленко.

— Тогда дадим ему четыреста пятьдесят вылетов, а вам сто пятьдесят. Столько, сколько понадобится для прикрытия всего вашего района.

— Хорошо,— сказал Москаленко.— Но если он не пойдет завтра наступать, вы должны мне дать четыреста.

— Хорошо, я доложу,— сказал генерал-майор.

Было уже темно. Москаленко собрался ехать в штаб и спросил меня о моих планах. Я сказал, что тоже сейчас поеду в Пщину.

— Раз так, поедете вместе,— сказал Москаленко.

— А Гречко будет завтра наступать? — спросил я.

— Очевидно,— сказал Москаленко.— Что, хотите поехать туда?

Я сказал, что да, если завтра там будут наступать, то я поеду.

— Что ж, приедете к нам в штаб армии, узнаете у Воробьева, он вам скажет все точно. Может быть, еще ночью скажет, а в крайнем случае, завтра утром.

Москаленко пригласил меня к себе в машину, и мы поехали вместе с ним и с Епишевым. По дороге говорили на разные житейские, невоенные темы, и в этом желании оторваться на время от разговора о войне, и в самом тоне этого разговора чувствовалась накопившаяся усталость пяти дней наступления.

К начальнику штаба армии я попал около двенадцати часов ночи. Воробьев работал. Я спросил у него, будут ли завтра наступать соседи.

— Сейчас,—сказал он и, с трудом встав со стула, пошел к ВЧ.

В последние дни у него разыгралось острое воспаление почек, он мучился, но работы не бросал.

Позвонив командующему воздушной армией генералу Жданову, Воробьев удостоверился, что соответствующие приказы о действиях авиации на завтра отданы и, следовательно, соседи будут наступать.

Я после этого с разрешения Воробьева дозвонился от него члену Военного Совета 1-й Гвардейской армии генералу Исаеву и договорился, что еще с ночи приеду туда, где он сейчас находится. Добрался и до него к половине третьего ночи. Исаев уже лег спать, назначив подъем в четыре утра, а мне в одной из двух комнат занимаемого им маленького домика была заботливо приготовлена койка. Я стащил сапоги и не раздеваясь, с наслаждением растянулся на ней.

Но едва заснул, как услышал разговор по телефону.

— Слушаю,—громким, но сонным голосом говорил Исаев.— Да, так точно, товарищ генерал-полковник. Так точно, в четыре. Есть. Хорошо.

Судя по этому звонку среди ночи, я понял, что Исаеву, должно быть, не давал спать Мехлис. Исаев ворочался за стенкой, и я тоже минут пятнадцать не мог заснуть. Заснул в три часа. Спать оставалось час.

МЕЖДУ ГЛАВАМИ

Перечитывая записи за 28 марта, я сначала было подумал, что подробное описание того, как мы с Альпертом и Бойковым добирались до Рыбника, а потом выбирались из него, принадлежит к числу тех связанных с нашим корреспондентским бытом длиннот, о которых я писал во вступлении. Но потом решил, пусть эта неудачная поездка предстанет перед глазами читателя именно такой, какой она вышла. На поверку оказавшаяся ненужной для дела, она отложилась в памяти какими-то подробностями, спустя мно-

го лет понадобившимися мне уже не как журналисту, а как писателю.

За войну таких неудачных поездок у меня накопилось не одна и не две, да и у моих товарищей по работе, наверно, тоже. Поездки эти были не слишком существенной, но неотделимой от целого частью нашей жизни на войне. Да и вообще в моей памяти, как и в памяти других корреспондентов, война — это наполовину дорога. Из наших корреспонденций эта дорога чаще всего выпадала, но в памяти оставалась.

В одних случаях эта дорога оказывалась совершенно безопасной, хотя поначалу, отправляясь в нее, мы ждали опасностей; в других случаях, наоборот, опасности подстерегали нас в дороге там, где мы их никак не ожидали.

В полусерьезной-полушуточной застольной корреспондентской песне, сочиненной еще в середине войны, я писал:

Выпить есть нам повод
За военный провод,
За У-2, за «эмку», за успех...

И эти строчки воспринимались тогда как само собою разумеющееся. Кстати, и сочинил я их тоже в дороге, точней, в бездорожье, двое суток прыгая на «виллисе» по весенним хлябям Кубани, перебираясь с Кавказского фронта на Южный, через стык двух фронтов.

Ох, уж эти стыки между фронтами и армиями, на которых даже вдали от передовой всякие неожиданности подстерегали одиночную машину корреспондента, уехавшего от одних и еще не доехавшего до других, порой плохо знавшего обстановку, а иногда и неосведомленного о последних переменах в ней.

Помогая в работе над тремя томами воспоминаний о погибших журналистах «В редакцию не вернулся» их самоотверженному составителю, покойному ныне, Петру Дмитриевичу Корзинкину, тоже в прошлом военному корреспонденту «Красной звезды», я убедился, что чуть ли не треть наших товарищей погибла на дорогах или летя на фронт, или возвращаясь с него, или перебираясь с места на место. Сгорели в воздухе, разбились при посадке, взлетели на mine, попали на открытом месте под бомбежку

или случайный снаряд, нарвались на бандеровцев или наскочили на группу отступающих немцев, которых и было-то всего несколько человек...

Время шло, на спидометры накручивались новые десятки тысяч километров, и все обходилось благополучно... Но к концу войны я, чем дальше, тем больше, боялся пустых дорог, на которых вдруг почему-то не видно ни одной машины, кроме твоей...

И еще кое-что о самом себе. Верней, о сегодняшнем взгляде на себя тогдашнего.

Как это видно из записных книжек, еще не зная, как скоро кончится война, но, как и все, чувствуя, что это уже не за горами, я думал о своих послевоенных писательских планах — о повести и даже о военном романе.

Повесть я собирался тогда написать о партизанском докторе Юлии Бернарде. Этот человек уже после поражения Словацкого восстания в течение нескольких недель в горах, в лесу, всего в километре от дороги, по которой шли взад и вперед немецкие машины и немецкие войска, спасал, лечил, оперировал несколько десятков тяжело раненных партизан. А когда этот тайный госпиталь оказался на грани гибели, Бернард нашел в себе силы добраться через горы до освобожденного от немцев польского горного курорта Закопане и вместе с польскими спортсменами-лыжниками, вернувшись в госпиталь, вывезти оттуда всех до одного раненых. Об этом поступке мне сначала рассказали люди, лечившиеся в госпитале у Бернарда, а потом по моей просьбе он сам.

Повесть об этом человеке, который со временем стал директором издательства Академии наук Венгерской Народной Республики, я так и не написал. Вместо нее вскоре после войны напечатал в двух номерах «Правды» документальный рассказ «В Высоких Татрах».

Роман о войне я все-таки написал. Но гораздо позже, чем думал тогда, в сорок пятом... И, поставив точку на его последнем томе, так и не добрался до тех событий, которые видел в конце войны на Четвертом Украинском фронте.

Однако и мой тогдашний ответ Петрову, что я собрал много материала, и мои тогдашние мысли, что я когда-нибудь выведу в романе в роли командующего фронтом человека, похожего некоторыми своими чер-

тами на Ивана Ефимовича,— все это не осталось без последствий.

Командующего фронтом, чертами характера наминающего Петрова, я в романе не вывел, но Петров был одним из людей, общение с которыми в годы войны подсказало мне некоторые человеческие черты главного героя романа «Живые и мертвые» — генерала Серпилина, и в особенности характер его взаимоотношений с подчиненными.

Действие третьей книги этого романа, где много места отведено изображению громоздкого и сложного механизма войны в масштабах действий наступающей армии, ее штаба, ее Военного Совета, развертывается не весной 45-го года и не на Четвертом Украинском фронте, а в другое время и в других местах. Однако многое из того, что я видел и слышал на Четвертом Украинском фронте, присутствуя в разные дни операции на разных командных и наблюдательных пунктах, чаще всего в 38-й армии, тоже оказалось очень важным для меня много лет спустя, при работе над «Живыми и мертвыми».

Начав думать к концу войны о будущем военном романе, я почувствовал пробел в своем опыте военного корреспондента. Запас всякого другого рода впечатлений за несколько десятков предыдущих поездок на фронт у меня, в общем, накопился, так мне, по крайней мере, тогда казалось, а вот опыта наблюдений за общим ходом операций, за тем, как все это планируется и корректируется сверху, в масштабах фронта и армии, как это выглядит с таких точек обзора, как фронтовые и армейские командные и наблюдательные пункты, не хватало.

Думаю, что этой писательской потребностью в значительной мере объясняется круг моих наблюдений и записей на Четвертом Украинском фронте. Так же, как и другим моим товарищам по профессии, мне доводилось видеть войну по-разному, в том числе и из окопов переднего края. Но в данном случае это дневниковые записи человека, имевшего дело, главным образом, с теми, кто командует и управляет войсками, а не с исполнителями их приказов — офицерами и солдатами, наступающими в боевых порядках рот и батальонов.

Таков был характер моей работы именно в эту поездку.

*Заметки Кшипка
за 29.3.45*

Исаев разбудил меня ровно в четыре. К пяти ему нужно было попасть на перекресток дорог, где он должен был ждать Мехлиса и уже с ним ехать дальше, на наблюдательный пункт. Наступление отменено не было, артподготовка назначалась на девять утра.

В пять часов десять минут мы стояли на перекрестке, где та дорога, по которой мы приехали, сходилась с другой, знакомой мне. Она была проложена по железнодорожной насыпи, и мы когда-то ехали по ней вместе с Петровым.

Мехлиса прождали минут сорок. Наконец он подъехал. Поздоровался с Исаевым, потом со мной.

— Здравствуйте,— любезно сказал он мне.— Даже в темноте вас узнал. У меня есть место, могу вас посадить к себе.

Я ответил, что у меня уже есть место в «виллисе» у Исаева. Но Мехлис все-таки предложил мне пересесть к нему и для этого пересадил одного из своих автоматчиков на шедший вслед за ним «виллис».

Мы влезли в закрытую машину, которая вначале показалась мне переоборудованным «доджем», и я высказал эту догадку.

— Это не «додж»,— сказал Мехлис.— Это ГАЗ-63, две пары ведущих, а мотор с Т-70.

— А кузов? — спросил я.

— Кузов с обыкновенной «эмки». Я давно езжу на этой машине.

И я вспомнил, что видел раньше если не эту самую, то похожую на эту машину. Мехлис приезжал на ней на Керченский полуостров, и я видел его там, в штабе 51-й армии покойного генерала Львова, где даже этот вездеход тогда безнадежно застрял в распутицу и откуда Мехлис уехал по железной дороге на дрезине. Вспомнив все это, связанное с Керчью, я, однако, промолчал, не стал говорить, что видел его машину раньше. Какое-то время мы ехали молча.

170 Потом Мехлис повернулся и вдруг спросил:

— Вы знаете, что у нас новый командующий фронтом?

— Знаю,— сказал я.

— Вы были у Ивана Ефимовича?

— Был,— сказал я.— Позавчера ездил к нему прощаться.

— Что он вам говорил? Ну, откровенно.

— Ничего он мне не говорил,— сказал я.— Говорил о ходе операции и на всякие отвлеченные темы. А на основную тему, о которой вы спрашиваете, ничего не говорил. А я, само собой разумеется, не спрашивал.

— Н-да,— протянул Мехлис после долгого молчания.

— Я просто ездил к нему проститься и поблагодарить за гостеприимство,— сказал я.

— А вы давно его знаете? — спросил Мехлис.

— Да. Он, по-моему, очень хороший человек.

— Да,— сказал Мехлис с какой-то особенно сухой ноткой в голосе. Мне показалось по этой нотке в голосе, что он принуждает себя быть объективным.— Он добрый и общительный человек. Он, это безусловно, один из лучших у нас специалистов ведения горной войны. Это он знает лучше многих других. Может быть, даже лучше всех. Но он болезненный человек. Знаете вы это?

— То есть как — болезненный? — переспросил я.

— Так вот. Бывают болезненные люди, но...— Мехлис на секунду остановился.— Но мы об этом с вами поговорим при других обстоятельствах.

Видимо, он не хотел дальше говорить на эту тему, потому что в машине сидели водитель и автоматчик.

В вопросе Мехлиса «что он вам говорил?» я почувствовал желание узнать, какие чувства испытывает Петров после своего снятия и не считает ли, что обязан этим снятием ему, Мехлису. Так мне, по крайней мере, показалось.

За вчерашний день до меня уже доходили слухи об этом, и поэтому меня не удивило «ну, откровенно» в устах Мехлиса. Как все это было на самом деле, я не знал. Но, несмотря на внешнюю вежливость и корректность в их отношениях, несмотря на выдержку Мехлиса, я чувствовал, что где-то в глубине души эти люди не слишком хорошо относятся друг к другу, и причем по деловым причинам.

Петров, видимо, не хотел ни малейшего вмеша-

тельства Мехлиса в оперативные дела и, подчеркивая это, почти никогда, даже из вежливости не обращался к нему за советами по этим вопросам. А Мехлис, как я это заметил еще раньше, кажется совершенно сознательно, подчеркнуто устранился от всякого участия в решении оперативных вопросов. Он ничего не говорил об этом Петрову, ничего ему не советовал и сам не обращался к нему ни с какими вопросами.

Теперь в машине, после того, как я услышал, как Мехлис говорит о Петрове, мне показалось, что у них перед начавшимся 10 марта наступлением произошел спор о готовности к этому наступлению. Наверное, Мехлис требовал сообщить в Ставку, что они не готовы, и взять на себя ответственность и отложить наступление на день или на два, или на три. Очевидно, он требовал этого еще ночью, видя плохую погоду. А Петров на это не согласился и начал наступление вопреки его советам. Не знаю, все, может быть, было совсем не так, но там, в машине, в разговоре с Мехлисом мне показалось, что все было именно так. А после неудачи, возможно, что Мехлис доложил наверх о том, как все это вышло, и, может быть, это послужило одной из причин снятия Петрова. Скорей всего, так. Именно этим и объясняется та интонация, с которой Мехлис мне сказал: «Ну, откровенно».

Мы несколько минут ехали в машине молча, потом Мехлис сказал:

— Я накануне только полупростился с Иваном Ефимовичем, а вчера задержался в армии, и когда позвонил ему, он уже уезжал. Так и не удалось проститься. Пришлось только по телефону.

Он сказал все это обычным своим сухим тоном; в этом тоне не было ни искреннего сожаления, что он не простился с Петровым, ни в то же время фальши. Он действительно опоздал и поэтому не простился, а опоздал потому, что был занят делами более важными, чем это прощание. А если бы он не опоздал, то приехал бы проститься, потому что это нужно и правильно было сделать даже в том случае, если человек, с которым он прощался, был снят по его докладу.

Мне показалось, что в Мехлисе есть черта, которая делает из него нечто вроде секиры, которая падает на чью-то шею потому, что она должна упасть, и даже если она сама не хочет упасть па чью-то голову, то она не может себе позволить остановиться в

воздухе, потому что она должна упасть... Кажется, что-то похожее на это вышло и с Петровым. Не знаю, быть может, в данном случае это досужее суждение, но психологически это именно так. Думаю, что я не ошибаюсь.

Мы проехали Струмень и свернули на скверную проселочную дорогу. Шедший впереди «виллис» Исаева несколько раз тормозил, останавливался и светил в разные стороны.

— Не знают дороги,— сказал Мехлис.— Исаев вообще плохо в дорогах ориентируется. Сейчас будут путать, еще, чего доброго, к немцам завезут. У нас на Втором Прибалтийском командующий артиллерией армии заехал не так давно к немцам. Прямо к ним в руки. И не думайте, что негодяй. Ничего подобного. Порядочный человек. Дремал в «виллисе», шофер ему говорил что-то одно, а он советовал шоферу что-то другое. Ну и заехали к немцам. И судьба их неизвестна. Как это происходит, я-то уж знаю! Меня столько раз уже завозили не туда, куда нужно...

Мы два раза свернули, сначала в одну сторону, потом в другую.

— Совершенно не знают дороги,— повторил Мехлис.— Абсолютно не знают. Ну-ка, Брагин,— открыв дверцу машины, крикнул он офицеру, ехавшему сзади в «виллисе».— Дайте мне карту, а сами идите, выясните дорогу.

Посвятив фонарем на карту, Мехлис нашел на ней место, на котором была пометка «Кол. Петрова», что на самом деле означало: «Колония Петрова». Но при взгляде на карту по привычке казалось, что это «колхоз Петрова», хотя, разумеется, никакого колхоза тут быть не могло.

— Посмотрите, куда ехать,— крикнул Мехлис Брагину, продолжая разглядывать карту.— Разумеется, только не вправо. Давайте разворачиваться.

Мы развернулись и вслед за «виллисом» Исаева повернули еще два раза.

— Мельников, дайте мне автомат,— сказал Мехлис.

Его ординарец Мельников, сидевший сзади рядом со мной, вытащил большой итальянский пулемет-автомат, вынул его из чехла и передал Мехлису. Мехлис деловито поставил его между колен. Я слышал от многих о его граничащей с фанатизмом храбрости. Мне в нем нравилось, что он весь был аккуратный,

подтянутый, без всякой рисовки. Я прекрасно представлял себе мысленно, как этот человек где-нибудь в окопе переднего края, попав в неожиданные критические обстоятельства, точно так же аккуратно, как он это делает за своим письменным столом, читая бумаги, вынет из кармана пенсне, наденет на нос и, каждый раз тщательно прицеливаясь, будет стрелять до последнего патрона, который так же аккуратно непременно оставит для себя, отнюдь не забыв об этом в горячке боя.

Наконец после блужданий мы выехали на верную дорогу. Впереди, слева и справа почти непрерывно светили немецкие ракеты. Вдоль дороги и слева от нее стояла поставленная на прямую наводку артиллерия средних и малых калибров. Очевидно, до переднего края в эту сторону было не больше километра.

Мы двинулись дальше с малым светом и вскоре через пролом в разбитой стене въехали во двор полуразрушенного фольварка. Во дворе была такая грязь, что машина застряла в ней.

— Далеко еще? — спросил Мехлис.

— Нет, метров сто.

— Пойдемте.

Мы прошли через забитый людьми фольварк и, сделав шагов полтора по лесу, оказались у входа в большой блиндаж, крытый пятью или шестью накатами бревен.

— Здравствуйте, — сказал Мехлис вышедшему ему навстречу из блиндажа высокому, большому Гречко, одетому в кожаное пальто и полевую фуражку. — Здесь ваш НП? — в голосе Мехлиса прозвучало удивление.

— Да, здесь.

— Что же вы можете наблюдать отсюда?

— Во-первых, отсюда кое-что видно, а во-вторых, для наблюдений у меня вышка. — Гречко показал наверх, и я увидел в двадцати метрах от блиндажа построенную меж трех сосен и хорошо замаскированную большую, аккуратно сделанную вышку с большой аккуратной площадкой наверху и поднимавшейся к этой площадке удобной деревянной лестницей. И здесь все снова было устроено точно так же, как и тот раз, когда я впервые был у Гречко. Видимо, таков был его стиль. Кто-то другой, может быть, вы-
брал бы для наблюдательного пункта соседний

фольварк. Гречко, должно быть, любил хорошо сделанные блиндажи и вот такие вышки среди деревьев.

Мы спустились в блиндаж. Там стояли стол, три стула и голая кровать с железной сеткой.

— Что говорят метеорологи? — сразу же спросил Мехлис.

— Ничего хорошего не обещают, — сказал Гречко.

Погода и в самом деле была отвратительная. Ночью шел дождь, земля размокла, а дождь продолжался. Похоже было, что он затяжной.

— Может быть, вы отмените наступление? — в упор глядя на Гречко, сказал Мехлис.

Я почувствовал за этими словами напоминание о неудаче предыдущего наступления. Гречко ничего не ответил.

— На какой час у вас намечено? — спросил Мехлис.

— Артподготовка намечена на десять, — сказал Гречко. — Но мы сначала в семь двадцать проведем частичную артподготовку и разведку боем. По одному батальону от каждой из трех дивизий. Этой разведкой боем мы обнаружим, не ушел ли противник, захватим пленных и узнаем от них, не догадался ли он о предстоящем ударе. А если он раньше не догадался, начнет отходить на вторую линию сейчас, встревоженный этой разведкой боем, то сделать этого он все равно не успеет.

— На сколько назначена разведка боем? — переспросил Мехлис.

— На семь двадцать, — повторил Гречко.

Мехлис вышел на улицу, постоял там несколько минут и вернулся в блиндаж.

— Ничего не видно, видимости никакой.

— Да, видимости никакой, — согласился Гречко.

— Может быть, есть смысл отложить? — сказал Мехлис, впиваясь в Гречко глазами. — Сколько осталось времени до вашей частичной артподготовки?

— Еще двадцать пять минут, — сказал Гречко. — Сейчас я прикажу начальнику штаба связаться с командующим фронтом. На то, чтобы всех известить о том, что откладывается, нужно десять минут. Все сидят на телефонах. Товарищ Павлов? — Гречко назвал начальника штаба каким-то псевдонимом. — Позвоните от моего имени командующему, что видимость не улучшается. Есть основания все отложить на час.

Мехлис чуть заметно поморщился. Кажется, ему не понравилась эта формула запроса.

Мы вышли из блиндажа. Через некоторое время Гречко тоже вышел и сказал Мехлису, что приказано все отложить на час. Он вернулся в блиндаж, а я продолжал стоять с Мехлисом на воздухе. Погода была все та же. Минуло и семь часов, и семь двадцать, и восемь... В начале девятого Гречко снова вышел из блиндажа, и я оказался свидетелем их разговора с Мехлисом.

— Погода не улучшается,— сказал Мехлис.— Может быть, лучше вообще все это отложить?

— Командующий фронтом не давал мне таких указаний,— сказал Гречко.

— Но вы-то высказали ему свое мнение, что вы против того, чтобы начинать?

— Высказал.

— Ну, и что он?

— Приказал отложить на час. Никаких других указаний не давал.

— То есть это вы считаете, что высказали ему свое мнение, когда при мне связывались с ним через своего начальника штаба по телефону? — сказал Мехлис.

— Да,— спокойно сказал Гречко.

— Возьмите на себя ответственность и отложите,— сказал Мехлис.

— Командующий фронтом таких указаний не давал,— еще раз повторил Гречко.

— А вы сами! Вы знаете решение Ставки по прошлому наступлению?

— Нет, не знаю,— сказал Гречко.

— Так вот я вам скажу. Решение Ставки было такое: мы могли попросить об отсрочке, нам бы ее дали, если б мы ее попросили. А мы этого не сделали и поплатились. Я бы на вашем месте отменил сегодня наступление. И донес бы об этом.

— Нет,— сказал Гречко.— Или я должен рассматривать ваши слова как приказание?

Это был вызов, которого Мехлис не мог принять. В таком вопросе член Военного Совета не мог отменить приказания командующего фронтом. Это было бы неслыханное. И Гречко это знал.

— Так свяжитесь еще раз с командующим фронтом,— сказал Мехлис.

— Поздно,— сказал Гречко.— Через пять минут

начнется. Уже поздно и связываться, и отменять.

И в самом деле на часах уже было четверть девятого. До начала подготовки оставались минуты. Я посмотрел на стоявшего рядом с Мехлисом Гречко. Несмотря на свой внешне спокойный вид и свое, видимо, твердое решение, несмотря на нажим Мехлиса, не запрашивать вторично командующего фронтом, он, должно быть, все-таки нервничал и, закинув за спину руки, пальцами одной покручивал пальцы другой.

Предшествовавшая наступлению передовых батальонов частичная артподготовка оказалась довольно внушительной. В грохот орудий ворвались короткие залпы легких установленных на «виллисах» эрсов. Словом, все было сделано для того, чтобы полностью имитировать обычный характер нашей артподготовки.

— Ну, «Борисы» пошли,— сказал Гречко, продолжая потирать пальцы. «Борисами» он называл свои батальоны, пошедшие в разведку боем.

Погода все еще не прояснялась. Но Мехлис, который до сих пор относился критически к возможности улучшения погоды, теперь безотрывно глядел на небо, искал и то здесь, то там находил какие-то просветы. Теперь, когда наступление уже началось, он хотел, чтобы погода во что бы то ни стало исправилась, и почти галлюцинировал.

— Вон, смотрите,— говорил он.— До этого места не меньше четырехсот метров, а может быть, и все пятьсот (на самом деле до этого места вряд ли было триста), а там уже деревья около дороги видны. Вон, видите, танк идет. А полчаса назад его не было бы видно. А вон справа появились разрывы в облаках. Может, и небо выглянет. Видите?

Была обычная пауза после начала артподготовки, когда какое-то время на наблюдательном пункте все нетерпеливо ждут первых донесений.

Я стоял вместе с Мехлисом и Исаевым, и у нас уже не помню, с чего, зашел разговор о солдатских посылках с фронта домой. Исаев рассказал о том, что многие солдаты посылают домой стекло — обивают стекло досками и приносят,— потому что им из дома написали, что стекла нет. А на почтовом пункте посылку не принимают — нельзя, не подходит по габариту, а кроме того, бьется.

— Давай принимай! — говорит солдат.— Давай 177

принимай! Немцы мне хату побили. Принимай посылку, а то ты не почта, раз не принимаешь!

Многие посылают мешки с гвоздями, тоже для новой хаты. А один принес свернутую в круг пилу.

— Ты бы во что-нибудь завернул ее,— сказали ему на почте.

— Принимай, принимай, чего там! Мне некогда, я с передовой.

— А где ж у тебя адрес?

— Адрес на пиле написан, вот, видишь?

И действительно, там, на пиле, химическим карандашом был написан адрес.

Услышав этот рассказ Исаева, я вспомнил о другой истории, которую мне недавно рассказывали. После взятия какого-то из маленьких немецких городков старшина роты, в прошлом председатель колхоза, наткнулся там на брошенный хозяевами магазин мужских шляп. У него была с собой ротная повозка, он погрузил на нее шляпы, а потом сделал большую посылку: запаковал, всунув одна в другую, тридцать новых фетровых шляп и послал их к себе в колхоз с письмом, в котором писал жене: «Посылаю к Первому мая подарки колхозникам. Раздай всем мужикам, которые остались живы. Пусть к Первому мая оденут, меня вспоминают».

Гречко, уходящий в блиндаж, вернулся.

— «Борисы» пошли. Хорошо пошли.

— Да, а лучше все-таки было бы отложить,— сказал Мехлис.

— Трудно это делать,— сказал Гречко.— Это значит, все настроение сорвать у людей, если отменить. У людей настроение наступательное. Поскорее наступать, а потом поскорее по домам.

— Это, знаете ли, опасное настроение,— сказал Мехлис.

— Почему опасное?

— Потому, что в этой фразе излишний акцент ставится не на слове «наступать», а на словах «по домам».

Гречко не стал отвечать. Промолчал.

Артподготовка продолжалась. Длилась она примерно минут пятнадцать. Я спросил Гречко:

— Какова мощь этой частичной артподготовки по сравнению с той основной, которая будет позже?

— Примерно такая,— сказал Гречко,— сейчас по два дивизиона на каждый батальон действует и еще

кое-что. В общем, сто орудий в течение пятнадцати минут. А когда начнется не ложная, а настоящая, будут действовать девятьсот орудий да плюс тяжелые эрэсы, и не пятнадцать, а сорок пять минут. Раз в тридцать мощнее.

— А как вы считаете, немцы принимают это сейчас за настоящую артподготовку?

— Думаю, что так. Мы и легкими эрэсами по ним палили, и все-таки, когда сто орудий густо бьет, это сильный огонь, в особенности, если воспринимаешь это не здесь, а там, где разрывы ложатся.

Вскоре пришло донесение по телефону: взяли первых семь пленных. Продвинулись метров на триста за железную дорогу. Все пленные из штрафной роты 1-й танковой армии. Рота эта села в окопы только сегодня ночью, но пленные говорят, что нашего наступления сегодня не ждали. Вообще-то знали, что наступление готовится, поэтому их и посадили на передний край в окопы, но когда именно будет это наступление, не знали.

К Мехлису подошел командующий артиллерией фронта Кариофилли. У них сразу зашел разговор об артиллерийской арифметике — сколько, когда и где истрачено снарядов, сколько, когда и где их будет нужно.

— Надо пооборотистей быть,— сказал Мехлис.— Надо все, что можно, сверху вытаскивать. Я вот звоню наверх и, если на звонок ответ положительный, не дожидаясь документов, начинаю действовать без них. Привожу и расходую! Мне нужно, чтобы начальство сказало «а», а все остальное мы тут и без него договорим.

Разговор перешел на 18-ю армию, где собирались менять кого-то из артиллерийских начальников.

— Надо Гастиловича подтягивать,— сказал Мехлис о командующем 18-й армией.— Они наступать еще не начали, а надо, чтобы подтянулись. А то левый фланг так отстает, что даже на карте некрасиво выглядит. Правда, и все мы отстаем. Кажется, нас скоро Второй и Первый Украинские фронты в окружение возьмут,— добавил он с горькой усмешкой.

— Что наблюдаешь? — спрашивал в это время Гречко у командира дивизии. И, положив трубку, сказал: — Жалуются, что ничего не видит. Даже боя своего батальона не видит, хотя находится от него в пятистах метрах.

Мимо нас прокатил маленький связной броневпчок.

— Знаете, как этот броневпчок солдаты зовут? — спросил Исаев у Мехлиса.

— Пет, а как?

— «Прощай, родина!»

— Ну да, конечно, броневая защита у него плохая, — сказал Мехлис. — Но ведь его никуда и не посылают, только так, для связных офицеров.

Артподготовка закончилась. Теперь били только орудия сопровождения. Немцы начали все сильнее огрызаться. Где-то впереди рвались их мины и снаряды и слышалась ожесточенная ружейно-пулеметная стрельба. Из дивизии докладывали, что пленных взяли уже сорок семь человек, все на одном километре по фронту и все из штрафной роты, которая, наверное, и занимала целиком как раз на этом километре всю первую траншею.

— А ну, дайте, — скомандовал кому-то по телефону Гречко, — залп между первой и второй линиями траншей, чтобы противник не оторвался и не ушел. — И, положив трубку, с большим оживлением, чем все, что он говорил до сих пор, сказал: — Думаю, что мы дезориентировали противника. Он решит после этой разведки боем — он сейчас уже понял, что это была разведка боем, а не наступление, — что мы сегодня будем уточнять результаты, допрашивать пленных и начнем наступление завтра. А мы начнем его сегодня.

— Сорок семь пленных, да еще штрафников, — сказал Мехлис, — сразу же во время разведки боем — это симптоматично. Видимо, воюют без большой охоты.

— Но вот погода не улучшается, — сказал Гречко. Мехлис холодно посмотрел на него.

— А по-моему, погода стала лучше.

По своему характеру он, по-видимому, любил, чтобы желаемое как можно скорее становилось действительным, и ему казалось, что погода улучшается, хотя она ничуть не переменилась.

— Ветер, наверное, все же разгонит туман, — сказал он.

— Ветер не сильный, — сказал Гречко. — Даже ветки не шевелятся.

180 — А вы не смотрите на ветки. Всегда на дым

надо смотреть,— сказал Мехлис. И он показал на шедший из трубы дым.

— Видите, ветер порядочный.

К Гречко подошел полковник, командир полка самоходных орудий.

— Готовы люди? — спросил Гречко.

— Готовы.

— Хорошо. Имейте в виду, Гордеев, возможно действие немецких самоходов вдоль шоссе. Предусмотрите это.

Мы снова зашли в блиндаж.

— Как наши снаряды ложатся, наблюдаете? Какое настроение? — спрашивал по телефону Гречко. Его, видимо, плохо слышали.— Настроение у людей какое? — громко повторил он.— Хорошее настроение у людей. Подбодрите людей. Скажите им добрые слова перед атакой, и пусть не обращают внимания на погоду.

— Когда начнете общую артподготовку? — спросил Мехлис, который больше не поднимал вопроса о приостановке наступления.

— Через полчаса, в одиннадцать ровно,— сказал Гречко.

— А будут артиллеристы видеть цели? — спросил Мехлис.

На это вместо Гречко ему ответил Карпофилли:

— Не будут. Тут главная беда, что в полосе наступления повсюду хутора и фольварки. А по каменным домам, чтобы их разгромить, нужно бить тяжелыми орудиями. А их ближе, чем на километр, не подтащишь на прямую наводку. А хорошо видно всего на пятьсот метров. Это в лучшем случае.

Гречко тем временем продолжал обзванивать по телефону командиров дивизий.

— Подбодрите, подбодрите людей, скажите им хорошие слова. Пусть не обращают внимания на погоду. И сами помните, что я требую от вас не останавливаться до самого Прухно.

Следующий звонок к следующему командиру дивизии.

— Подтягивайте пехоту ближе, как можно ближе к разрывам наших снарядов и дружнее атакуйте. Вот и все. В один голос жалуются на плохую видимость,— закончив переговоры, сказал Гречко.

Мехлис ничего не ответил.

Осталась одна минута.

Мы вышли на воздух, и сразу же грянула артподготовка. Метрах в трехстах от нас стояли тяжелые ящики М-31; реактивные снаряды летели, похожие на большие черные стрелы, и было в них что-то средневековое, что-то от катапульты, от метательных снарядов древних времен. Сразу, когда они вылетали, за ними шел огненный хвост, похожий на хвост лисы. Потом он погасал, и оставалась лишь черная, продолжавшая лететь далеко вверх стрела. После каждого залпа какой-то запоздавший снаряд летел в одиночку.

— Ишь, смотрите, как гусь,— сказал кто-то, и сказал очень точно.

Все грохотало и стучало, как на большой молотилке.

Через сорок пять минут артподготовка кончилась, началась стрельба артиллерии сопровождения. И пехота пошла в атаку. Отсюда ничего не было видно, хотя в ясную погоду этот наблюдательный пункт, наверное, был бы отличным. На затянутую туманом даль вторым пологом лег дым от разрывов.

Едва кончилась артподготовка, как впереди начали рваться немецкие мины и возник ожесточенный пулеметный огонь, особенно слева.

— Не подавили до конца,— сказал Гречко.— Не подавили всех целей.— И грустно щелкнул языком.

Через полчаса стали поступать первые донесения. Командир одной из дивизий доносил, что он дошел до железной дороги, но дальше не может продвигаться — немцы фланкируют ее справа артиллерийским огнем, и он несет потери.

— Во-первых,— сказал ему Гречко по телефону,— если вы сейчас боитесь потерь, то вы, простояв на месте, потеряете еще тридцать минут, и это будет самая важная потеря. А потом я все-таки прикажу вам двигаться вперед, и вы будете двигаться и потеряете втрое больше, чем потеряли бы сейчас. А во-вторых, насчет немецкой артиллерии неправда, не может быть у вас сильного огня немецкой артиллерии, она подавлена, и мы отсюда не слышим ее, она по вас не бьет. Вы неверно доносите. Идите вперед — и все.

После этого звонка он сейчас же позвонил командиру корпуса.

— Такой-то (Гречко назвал фамилию командира дивизии) мне доносит, что ему во фланг бьет немецкая артиллерия. Сейчас же помогите ему. Дайте огонь

по немецкой фланкирующей батарее, и мощный огонь! Помогите как следует.

— Педагогика,— усмехнулся Кариофилли.

— Так точно,— сказал Гречко.— Может быть, по нему и в самом деле бьет с фланга немецкая артиллерия. Но ему-то надо внедрить в голову, что я не принимаю этого в расчет. А командир корпуса пусть на всякий случай все-таки ему поможет.

Между тем пулеметный огонь не стихал. И уже по одному этому чувствовалось, что немцы, особенно слева от нас, не отошли, сидят там, где сидели.

Мы ходили снаружи перед блиндажом и довольно долго молчали. Потом Мехлис сказал:

— У немцев метеорология есть составная часть военной науки. Они ждут погоды для наступления, как легчик для кругосветного полета. Ждут и пять дней, и десять, и пятнадцать, сколько им нужно. И дожидаются идеальной погоды. И в эту идеальную погоду идеально используют все, что могут использовать. А нас они давно изучили, изучили наше упрямство. Есть погода, нет погоды, раз решили, значит, будем наступать. И они это учитывают и к этому готовятся. Раз мы уже назначили день, то не отменим ни при каких обстоятельствах.

Свистнул снаряд и разорвался где-то далеко сзади.

Я вспомнил рассказ Бориса Смирнова¹ о том, как он сидел на пункте наведения авиации вместе с несколькими солдатами-артиллеристами. Им только что подвезли суп, и они ели его из котелков. В это время начался немецкий артналет. Когда снаряды свистели и рвались далеко сзади, солдаты, усмехаясь, говорили про них: «Это не наш, это генеральский пошел... И это генеральский... А вот это наш». Солдат, сорвав с головы пилотку, прежде чем лечь, накрывал ею котелок с супом.

— Ну да,— сказал Мехлис.— Снарядов-то иногда много бывает за день, а суп один. Если земля в него попадает, никто второй порции не привезет...

Уже шел четвертый или пятый час наступления. Погода становилась немножко лучше, но артподготовка, которая должна была обеспечить прорыв, не обеспечила его. Оставались надежды на авиацию в случае, если погода существенно улучшится.

¹ Б. А. Смирнов — генерал-майор, командир авиационной дивизии.

Гречко продолжал отдавать приказания по телефону, настаивал на необходимости продвинуться до Прухно. Но в воздухе уже чувствовалось, что на сегодня наступление не удалось.

Я пошел повидать Альперта, которому скверная погода тоже мешала. Интересных снимков не предвиделось.

— Долго вы еще здесь пробудете? — спросил меня Альперт, с тоской глядя на продолжавшее сыпать дождем небо.

— Да нет, думаю, скоро поедем.

— Сегодня тут нам, по-моему, нечего делать, — сказал он.

Я должен был с ним согласиться. Пожалуй, делать нам тут действительно было уже нечего, только портить людям настроение своим присутствием.

Когда я вернулся, Мехлис у входа в блиндаж разговаривал с Гречко.

— Значит, никаких перемен?

— Да, досадно, — сказал Гречко. — Справа домиков не заняли, а слева никаких перемен.

Он явно не старался приукрашивать положение и говорил спокойно, с некоторой поткой горечи.

— Да, нового уже, значит, ничего. Что сделано во время разведки боем, то и сделано, — сказал Мехлис.

— Еще человек двадцать пленных взяли, — сказал Гречко.

Мехлис простился с Гречко и, отойдя несколько шагов от блиндажа, вдруг сказал:

— Хотел поехать отсюда в 38-ю, но сил нет. Не ложился сегодня. Поеду в штаб фронта сейчас, посплю. А вы? — спросил он меня.

Я ответил, что, наверное, тоже скоро поеду, но пока еще немного побуду здесь. И пошел проводить его до машин.

Обе машины Мехлиса стояли уже на ходу, на дороге, но адъютантов не было, они куда-то ушли, и один из водителей побежал за ними. Приходилось ждать.

Мы довольно долго стояли с Мехлисом и смотрели на кладбище вблизи от дороги, около большого фольварка, обнесенное аккуратной оградой. Внутри этой ограды поднималось пятьдесят или шестьдесят больших и малых, сбитых из досок и выкрашенных желтой и красной краской пирамид и пирамидок. Под

большими пирамидами были братские могилы солдат и сержантов, под малыми пирамидками были похоронены офицеры. Немолодой солдат, держа в руках бумажку, наверно, с памяткой, окунал в ведро кисть и масляной краской писал фамилии на той пирамиде, на которой их еще не было. Я вошел в ограду. Мехлис тоже. Одна, вторая, третья... У солдат были по большей части украинские фамилии, и я обратил на это внимание Мехлиса.

— Да, да,— сказал он.— Пехота в последнее время пополняется за счет Западной Украины, Белоруссии, в особенности Западной Украины. А это самый прожорливый род войск.

Я спросил, правду ли я слышал, что старший командный состав, начиная от майора, есть приказанные хоронить на родине. Правда это или нет?

— Возят на родину,— сказал Мехлис.— Бывает. Но указания такого нет. Оно было бы неверным.

— Почему? — спросил я.

— А потому, что тут своего рода диалектика. С одной стороны, казалось бы, можно отвезти офицера и похоронить на родине, а с другой стороны, разве можно разделять так людей после смерти? Солдаты будут говорить: с немцами боролись вместе, а хоронят отдельно. Нет, это нехорошо, это неверно,— сухо сказал он. И, помолчав, добавил: — Это вредно.

Снова помолчав, сказал, что сейчас это дело упорядочено. Офицеров приказано хоронить только в населенных пунктах, старших офицеров только в городах, а на родину никого не возить.

Адъютанты Мехлиса появились, он уехал, а я пошел обратно к Исаеву. Мы вспомнили с ним о Мурманске, где впервые в начале войны встречались, потом о Москве.

— У вас есть в Москве квартира? — спросил я его.

— Насколько это можно назвать квартирой,— усмехнулся он.— Восемь метров на восьмом этаже, без лифта, жена и дети.

— А где вы жили до войны?

— В военном городке. И сразу оттуда попал на войну.

Исаев вместе со мной зашел к Гречко. Я, чувствуя, что в такой день, как сегодня, я здесь лишний, и чем дальше, тем больше, поспешил откланяться.

— Всего доброго,— сказал Гречко.— Приезжайте в другой раз. Сегодня вы здесь ничего для себя хорошего и интересного уже не увидите.

Лицо его было печально, спокойные руки потирали одна другую. При всем своем спокойствии он в душе переживал неудачу дня, и это чувствовалось.

Мы вместе с Байковым и Альпертом сели на «виллис» и поехали обратно в штаб 38-й. Выехав, долго колесили по грязной дороге, ехали мимо артиллерийских позиций, мимо отстрелявших утром пушек. У пушек под плащ-палатками сидели артиллеристы, курили, перекусывали. Сделав свое дело, отстрелявшись, усталые и промокшие, они казались сейчас равнодушными ко всему на свете.

Часть пути мы проехали по той самой дороге, по которой я когда-то, в первый день наступления, 10 марта, вместе с Петровым ехал из 38-й в 1-ю Гвардейскую. Я с грустью вспомнил Ивана Ефимовича. Погода в тот день тоже была плохая, по-другому, чем сегодня, но тоже плохая. Дорога, которая раньше шла вдоль недавнего переднего края, сейчас уже не напоминала о нем. На ней не было ни трупов, ни брошенного оружия. Только на перекрестке стоял грузовик, а рядом с ним лежали на земле опрокинутая повозка и сбитая машиной окровавленная, еще держащаяся лошадь. Над лошадью возился повозочный, распрягал ее, а регулировщик, положив на капот грузовика блокнот, писал протокол...

МЕЖДУ ГЛАВАМИ

Несколько слов о том месте в записках, где Мехлис в моем присутствии упоминает о решении Ставки.

Из всего контекста разговора, в котором Мехлис настаивал на переносе времени наступления из-за плохой погоды, не выдвигая никаких других мотивов, мне тогда показалось, что, наверно, именно об этом же, о погоде, шла речь и в том решении Ставки по предыдущему наступлению, на которое Мехлис ссылался, стремясь нажать на неподатливого командарма 1-й Гвардейской.

На самом же деле в решении Ставки речь шла не о погоде, а о неготовности войск. О том, что «коман-

дующий фронтом генерал армии Петров, установив неполную готовность войск к наступлению, обязан был доложить об этом Ставке и просить дополнительное время на подготовку, в чем Ставка не отказала бы».

Этот документ ныне опубликован во втором томе воспоминаний маршала К. С. Москаленко «На Юго-Западном направлении».

Вспоминая сейчас то утро на НП 1-й Гвардейской армии, невольно задаю себе вопрос: а почему же Мехлис, так настаивая на переносе наступления, сам не позвонил Еременко, сам не сказал ему своего мнения? Может быть, только что будучи причастен к снятию прежнего командующего фронтом, он не захотел с первых же шагов оспаривать решений нового? И практически хотел переложить ответственность и за отмену выступления и за неотмену его всецело на плечи командарма?

Вообще-то уклончивость была не в характере Мехлиса, но в данном случае мне кажется, что я близок к истине.

При оценке причин снятия Петрова с командования Четвертым Украинским фронтом мне особенно трудно отойти от своего личного отношения, не боюсь сказать, от своего пристрастия к этому человеку, с которым я дружил до последних дней его жизни.

Однако все же попробую это сделать.

Сказать про Ивана Ефимовича Петрова, как я сам думал тогда и как сочувственно сказал мне о нем Ортенберг «вот уж кому не везет, так не везет», беря всю войну в целом, нельзя. Петров начал ее в звании генерал-майора в Одессе, формируя из ветеранов кавалерийскую дивизию. А встретил День Победы генералом армии, начальником штаба одного из двух крупнейших наших фронтов — Первого Украинского. После войны он поехал командовать Среднеазиатским военным округом, в котором до войны был начальником пехотного училища. А закончил свою жизнь на посту Главного инспектора вооруженных сил. Так что, если брать весь его жизненный и военный путь, считать его неудачником никак не приходится.

Но во второй половине войны он трижды пережил 187

драму снятия с должности, и, мне кажется, это наложило на него свой отпечаток.

В первый раз это было на Кавказе после предпринятых совместно с флотом неудачных десантных операций в Крыму.

Во второй раз — на Втором Белорусском фронте, который Петров готовил к наступлению, но был снят до его начала.

Не беру на себя смелости судить об этой истории, но, чтобы помочь представить, какое психологическое воздействие она могла иметь на Петрова, приведу абзац из воспоминаний генерала С. М. Штеменко.

«...Однажды, когда мы с Антоновым были на очередном докладе в Ставке, И. В. Сталин сказал, что член Военного Совета 2-го Белорусского фронта Мехлис прислал ему письмо, в котором обвинил И. Е. Петрова в мягкотелости и неспособности обеспечить успех операции и, кроме того, сообщил, что Петров болен и много времени уделяет врачам. Мехлис не постеснялся вылить на голову Петрова ушат и других неприятных и, по существу, неправильных обвинений. Для нас они оказались совершенно неожиданными. Все мы знали Ивана Ефимовича Петрова как смелого боевого командира, разумного военачальника и прекрасного человека, целиком отдающего своему делу. Он защищал Одессу, Севастополь, строил оборону на Тереке. Нам пришлось неоднократно бывать у него в Черноморской группе войск Закавказского фронта, на Северо-Кавказском фронте и в Отдельной Приморской армии, и мы были убеждены в его высоких командирских и человеческих качествах. Однако по навету Мехлиса он был снят, прокомандовав фронтом всего полтора месяца. Необоснованность снятия И. Е. Петрова вскоре стала очевидной. Ровно два месяца спустя, 5 августа 1944 года, он был вновь назначен командующим 4-м Украинским фронтом, а 26 октября этого же года получил звание генерала армии».

О том, как выглядело третье снятие Петрова, что я об этом тогда слышал и что думал и чувствовал в связи с этим, рассказано в моих записных книжках.

Вспоминая сейчас о том, как все это было тогда, думаю, что существовало три момента, психологически отягощавших для Петрова его снятие с должности. Во-первых, членом Военного Совета на Четвер-

том Украинском фронте у него снова оказался Мехлис, прямо причастный к его предыдущему снятию. Во-вторых, горькая для Петрова ирония судьбы была и в том, что уже во второй раз за войну его сменял А. И. Еременко. Такое не часто случается. И, наконец, в-третьих, это неожиданное снятие с должности произошло как раз в тот момент, когда дела на фронтe пошли лучше...

Как все это воспринял тогда я, уже сказано. Но недавно в книге маршала А. А. Гречко «Через Карпаты» я с большим интересом прочел о том, как отнесся тогда к снятию Петрова командующий 1-й Гвардейской армией. Приведу эту выписку, как мне думается, весьма важную для понимания всего происшедшего тогда:

«25 марта наступление войск 38-й армии и двух корпусов 1-й Гвардейской армии продолжалось. Преодолевая упорное сопротивление, наши войска углубили и расширили прорыв, создав угрозу выхода к крупному узлу дорог — городу Лослау.

В этот день командующий войсками 4-го Украинского фронта генерал армии И. Е. Петров и начальник штаба фронта генерал-лейтенант Ф. К. Корженевич были освобождены от занимаемой должности. Командующим фронтом был назначен генерал армии А. И. Еременко, начальником штаба — генерал-полковник Л. М. Сандалов. Истинные причины смены командования фронта генералам и офицерам армейского звена не были известны, но все очень сожалели об уходе с поста командующего генерала Петрова, талантливого военачальника, скромного и отзывчивого человека. Предполагали, что смена связана с неудачными действиями войск фронта под Моравской Остравой, хотя медленное продвижение войск зависело, в основном, не от командования фронта и армии, а от наличия сил и средств для прорыва долговременной обороны противника и крайне ограниченного количества боеприпасов, выделенного для проведения операции. Стрелковые части и подразделения были вынуждены прорывать хорошо организованную оборону врага без достаточной артиллерийской поддержки и несли большие потери.

Вскоре генерал армии И. Е. Петров был назначен начальником штаба 1-го Украинского фронта, где проявил себя с наилучшей стороны».

*Записная книжка
за 31.3.45*

Во всем этом дне подробной записи заслуживает, пожалуй, моя четырехчасовая беседа в Гинденберге с немецким католическим священником, с которым Зауэр предлагал повидаться еще в прошлый мой приезд, но сделать это я смог только теперь. Мне предстояли еще некоторые другие дела, и я, встретившись с Зауэром у заместителя коменданта, попросил его организовать встречу с католическим патером в вечерние часы.

— К этому времени будет уже темно,— сказал Зауэр.— А в немецких домах все наглухо запираются на ночь.

— Да,— подтвердил заместитель коменданта,— немцы запираются. Боятся насилий, боятся грабежей, вообще всего боятся. И когда нам в комендатуре надо срочно разыскать кого-нибудь из них после наступления темноты, перед нами дилемма: или идти ломать дверь, или брать с собой кого-то из немцев, сотрудничающих с нами, и вместе с ним стучаться в нужный нам дом.

Услышав это, я невольно вспомнил свой разговор с маршалом Тито о том, как немцы в сорок первом году, после оккупации Белграда, под страхом смертной казни запретили жителям запираеть на замок свои двери. И, вспомнив это, подумал, что, несмотря на свою суровость, мы, однако, достаточно гуманны с ними.

Зауэр предложил выход: он сейчас пойдет сам, предупредит патера о встрече, а вечером мы встретимся в комендатуре и вместе пойдем к нему.

Так и сделали.

Вечером Зауэр пришел в комендатуру вдвоем с переводчиком, и мы пошли.

Ночь была черная, хоть выколи глаз. Город как вымер. И мне было немножко странно: вот я иду безоружный (я забыл пистолет в кожанке в комендатуре, и возвращаться за ним не хотелось) с двумя немцами ночью по немецкому городу к третьему немцу. Хотя, впрочем, как раз то, что я шел с двумя

этими немцами, и было гарантией моей безопасности. Случись со мной что-нибудь, их судьба была бы печальной.

Мы подошли к большому дому и постучали в решетчатую железную калитку. Над нами в окне появился свет фонаря, он осветил нас, и калитка открылась. Должно быть, в ней был электрический замок, соединенный проводом с домом.

Мы поднялись по лестнице, и нас встретил в дверях человек, которого я сначала в темноте не разглядел. Мы прошли с ним в комнату. Оказалось, что это сам патер. Он был в черной сутане, с большим красным крестом на груди. И я подумал, что он, наверное, не только приходский, но и госпитальный священник. Так и оказалось: большое кирпичное здание с железной решеткой вокруг было госпиталем, в котором находилась и приходская католическая церковь.

Патеру было за шестьдесят. Он был среднего роста, плотный, с белыми холеными руками и бледным и красивым, несмотря на резкие черты, старческим лицом.

Комната была низкая, выкрашенная сероватой краской, на стене висело большое распятие, а посередине стоял стол с четырьмя креслами и на нем четыре чайных чашки. Я знал, что многие католики вообще, а католические священники в особенности, в начале власти Гитлера находились в некоторой оппозиции к нему. Знал, что многие католические священники сидели в лагерях, а ко времени прихода Гитлера к власти в своем большинстве представляли сторонников другой политической ориентации и поддерживали католическую партию центра. Я считал заранее, что до конца искренних ответов мне здесь не получить, но на некоторую откровенность все же рассчитывал и думал, что с известными поправками смогу составить себе приблизительное представление о настроениях немецких католических кругов.

После уже обычного для таких разговоров предисловия, что я прошу быть откровенным и что меня интересует объективная картина, я начал с вопроса, за кого патер голосовал в 1933 году, в год прихода Гитлера к власти.

Он с некоторым удивлением пожал плечами: как, за кого голосовал? Конечно, за католическую партию центра!

Тогда я спросил его:

— Ну, а если бы представить себе задним числом невозможное, что в 1933 году в Германии взял в свои руки власть не Гитлер, а католическая партия центра, какую внешнюю политику она проводила бы?

— Совершенно другую,— быстро ответил патер.

— Но все-таки какую?

— Во всяком случае, не политику войны,— сказал он.

— Но ведь любая партия, которая могла бы прийти к власти в то время, должна была бы выдвинуть своим лозунгом пересмотр Версальского мира. Разве этот лозунг не был в числе лозунгов вашей католической партии? — спросил я.

— Был,— сказал он.

— Но ведь трудно предположить, что эта ревизия Версальского мира могла произойти мирным путем.

— Почему? — возразил он.— Мы могли бы добиться ее мирным путем.

— Каким образом?

— Мы бы не пошли на войну,— сказал он,— ни при каких обстоятельствах.

— Давайте тогда разберем проблему по частям,— сказал я.— Начнем с Саара.

— Ну, с Саарской областью вопрос был бы решен как раз мирно,— сказал он.— Плебисцит там, безусловно, прошел бы в нашу пользу, и она бы принадлежала нам.

— Хорошо,— сказал я.— Ну, а как быть со вторым вопросом? Как бы произошел аншлюс Австрии?

— А мы бы не ставили этого вопроса.

— Совсем?

— Нет, не совсем. Мы бы ставили этот вопрос в экономическом разрезе. Экономический аншлюс, экономическое взаимодействие с Австрией, в котором нуждались и мы и австрийцы. А что касается политического, государственного объединения, то мы бы этого не требовали.

— Но разве, по-вашему, Германия и Австрия к этому не тяготели?

— Германия в известной мере тяготела. А Австрия — нет. Ни в какой мере. Ни в какой мере,— повторил он настойчиво.

— Почему же? — стал выяснять я. — Язык один. Народ, в общем, один — немцы. И там и тут.

— Положим, — сказал он, — если заглянуть поглубже в историю, мы найдем на протяжении веков много примеров борьбы между этими двумя государствами, несмотря на общность языка.

— Да, — согласился я, — это так. Но после войны 1914 года Австрия перестала возглавлять империю, которая боролась с Германней за первенство среди германских народов и вообще за первенство в Центральной Европе.

— Это верно, — сказал он. — Но тем не менее австрийцы не хотели с нами объединяться. Это совершенно другой народ. Они ненавидят пруссаков и более сносно относятся только к жителям Рейна. Рейнландцам. Я, например, когда жил там — я жил в Австрии шесть лет, — всегда говорил им, что я рейнландец. И это сказывалось на их отношении ко мне. Кстати, я не лгал. Я действительно с Рейна. Австрийский народ в своей массе никогда не ставил вопроса об аншлюсе. Он был далек от этого. Австрийцы, в общем, жили хорошо, богаче, чем немцы. Они чувствовали, что при аншлюсе произойдет уравнивание. И это было им невыгодно, хотя бы с чисто практической точки зрения. Не говоря уже о том, что они всегда ощущали себя отдельной национальностью.

— Да, но я видел альбомы, связанные со вступлением Гитлера в Австрию. Улицы были полны народа, и вообще все это имело характер торжества, — возразил я. — И, потом, были же и там, в Австрии, внутри, сторонники аншлюса.

— Видите ли, — сказал он, — когда Гитлер уже вступил на путь аншлюса и вся его пропаганда была направлена на это, австрийцев начали запугивать изнутри, что Гитлер произведет аншлюс с помощью вооруженной силы. И что после этого все, кто раньше был против аншлюса, подвергнутся остракизму и наказаниям. А так как эта угроза была вполне реальна, то австрийским фашистам и приехавшим туда немецким фашистам, видимо, удалось оказать давление на Австрию, хотя сама она, повторяю, никогда не стремилась к аншлюсу.

— Значит, вы бы тогда не ставили вопроса об аншлюсе? — спросил я.

— Нет, мы бы искали формы экономического 193

взаимодействия, это нам казалось вполне достаточным.

— Тогда перейдем к вопросу о судетских немцах,— сказал я.— Как бы вы поступили в данном случае?

— Мы никогда не ставили этого вопроса,— сказал патер.

— А как вы смотрели на то, что три миллиона немцев, живших в Судетах, оказались в составе относительно малого по сравнению с Германией государства?

— К этому вопросу надо прежде всего подойти исторически,— сказал патер.— Во-первых, судетские немцы никогда не входили в состав Германии, а входили в состав Австро-Венгрии. Следовательно, если исторически у них была своя теория государственности, то это была теория, связанная с Австро-Венгерской монархией, а не с Германией. Во-вторых, в жизни народа национальные лозунги — это одно, а его повседневные потребности — это другое. Судетские немцы жили в пределах Чехословакии богато и независимо, имели своих депутатов в парламенте, своих министров в правительстве, имели полное равноправие в пределах Чехословацкой республики, и если у них и была какая-то национальная ущемленность в том смысле, в каком вы меня спрашиваете, то практически они ее никак не чувствовали. То есть они не чувствовали этого, идя на работу. А чувствовали только, собираясь в кафе за чашкой кофе и занимаясь националистическими разговорами. А сознание человека в гораздо большей степени определяет то, как он живет и что делает, чем разговоры за чашкой кофе. Идея присоединения к Германии была империалистической идеей, возникшей в империалистической Германии. Сами судетские немцы не чувствовали этой необходимости. Они примирились с существующим положением, примирились со своим существованием на территории Чехословакии. Но когда мы стали навязывать эту идею извне, она нашла там своих сторонников.

— А как ваше мнение,— спросил я,— если бы был произведен действительный плебисцит, такой, при котором каждый чувствовал бы себя в дальнейшем в полной безопасности, вне зависимости от того, за что он голосовал? Как, по-вашему, проголосовали бы судетские немцы: за то, чтобы остаться в

Чехословакии, или за то, чтобы уйти из ее состава?

— Смотря куда уйти,— сказал патер.— В Австрию или в Германию.

— За то, чтобы в принципе уйти. Все равно, в Австрию или в Германию, но уйти,— сказал я.

— Нет, это не все равно. Возможно, они проголосовали бы за то, чтобы уйти в Австрию. А насчет Германии не знаю. Допускаю, что до 1933 года, до прихода Гитлера к власти, они могли бы проголосовать за присоединение к Германии. Но после прихода Гитлера к власти, а тем более в 1937—1938 годах, когда готовилась война и когда гитлеровский режим уже вполне проявил себя как террористический режим, я сомневаюсь в успехе плебисцита в пользу Германии при том, конечно, условии, что голосовавшие не были бы предварительно запуганы и не боялись бы последствий.

— Значит, вы сами никак не ставили судетской проблемы?

— Нет, мы ее не ставили.

— Так. А Польский коридор? — спросил я.

— Польский коридор — да. Это была для нас очередная и труднейшая для разрешения проблема,— сказал он.— Мы считали, что Польский коридор должен быть уничтожен, и этот вопрос стоял в нашей программе.

— Но ведь вы говорите, что хотели все решить мирным путем. А Польша ни при каких обстоятельствах не отдала бы вам коридор без войны.

— Нет, мы не пошли бы на войну даже из-за Польского коридора,— сказал патер.— Но мы и без войны добились бы своего. В крайнем случае, мы пошли бы на компенсацию.

— На какую компенсацию?

— Мы бы отдали полякам восточную часть Восточной Пруссии и таким образом предоставили бы им другой коридор с выходом к морю, однако не разрезающий нашу территорию. А взамен получили бы себе территорию, которая была прежде Польским коридором.

— И вы бы, если предположить возможность всего этого, пошли бы на такое мирное разрешение проблемы и на компенсацию, даже зная при этом, что у вас в кармане сила, которая может сломить Польшу, и тогда вам не придется давать никаких компенсаций?

Патер несколько мгновений молчал, думал, потом сказал:

— Видите ли, дальновидный человек рассчитывает не только на те силы, которые он может бросить на стол в первую минуту, в первый месяц. Дальновидный человек подсчитывает количество своих сил вообще, и в случае войны соотношение сил ни при каких обстоятельствах не могло в конечном итоге сложиться в нашу пользу. Вот в этом, на мой взгляд, и состоит основная ошибка Гитлера.

— И вы придерживались этого взгляда даже в дни наибольших успехов Гитлера?

— Будет неправдой сказать, что все, кто придерживался такого взгляда раньше, чтобы все они придерживались его и впоследствии, во время успехов немецкой армии. Но лично я — можете мне верить, можете не верить, как вам угодно, — лично я придерживался этого взгляда всегда.

Он сказал это очень убежденно и вообще, как мне показалось, говорил со мной с достаточной откровенностью, не опасаясь меня. Может быть, потому, что Зауэр заранее предупредил его о моих чисто литературных интересах, а может быть, просто по старости лет, как человек, считающий, что ему уже нечего терять.

Мы прервали разговор, чтобы выпить чаю. Патер вышел из комнаты и вернулся с большим чайником. В нем был настоящий чай, крепкий, ароматный, которого я давно не пил.

Когда мы выпили по чашке чаю, я спросил патера, какое количество католических священников в самом Гинденбурге и вообще в пределах этого административного округа было при Гитлере посажено в лагерь.

— Примерно тридцать из ста, — ответил он.

— За что?

— Главным образом, за пропаганду. Как только Гитлер пришел к власти, так сейчас же — мы этого тогда еще не знали — к нам в церкви были направлены его стенографы, которые сидели на воскресных проповедях с молитвенниками и стенографировали эти проповеди. Те, кто особенно резко высказывался против Гитлера в своих проповедях, были посажены.

— А вы сами не попали в эту историю? — спросил я.

— Чуть не попал,— сказал он.— Но в гестапо в Гинденбурге служил один католик, который перед этим надолго исчезал из города, но в молодости был моим прихожанином и исповедовался у меня. Он вызвал меня к себе, показал мне стенограмму моей проповеди и предложил мне, не выходя из его кабинета, написать другой текст, такой, который не слишком заметно отличался бы от стенограммы, но в то же время благодаря смягчению уже не представлял бы для меня реальной опасности. Я это сделал и таким образом с его помощью избежал того, чего не смогли избежать многие мои коллеги.

— А какое количество членов фашистской партии среди ваших верующих было перед началом войны?

— Большое. Но меньшее, чем среди протестантов, и учтите при этом, что для многих, в особенности если говорить об интеллигенции, принадлежность к фашистской партии была необходимым условием получения работы.

Наш разговор перешел на проблемы, связанные с нынешней военной оккупацией и работой нашей коммандатуры.

— Немецкое население здесь ведет себя тихо,— сказал патер,— и будет вести себя тихо. Но оно уже жалуется, оно избаловано.

— Чем избаловано? — спросил я.

— Тем, что, будучи рабами по отношению к Гитлеру, они могли быть господами по отношению к другим. По отношению к Гитлеру они были слишком рабами. В немецком народе при некоторых обстоятельствах проявляются такая дисциплина и покорность, которые меня очень сердят. Вот такая излишняя покорность, излишняя, излишняя,— несколько раз жестко повторил он,— была проявлена немцами и перед Гитлером.

Кажется, эта тема очень волновала его. Во всяком случае, он впервые за все время разговора повысил голос.

— Вот ко мне приходят плачущие женщины, жалуется, плачут. Много плачут. Что арестовали их мужей, членов фашистской партии. Я их жалею, как их духовный отец, но я при этом меньше сочувствую им, чем мне самому бы хотелось.

— Почему меньше сочувствуете?

— Потому что они плачут только в первый раз. 197

Если бы они плакали уже во второй раз, я бы им сочувствовал вполне.

— Почему? — снова спросил я.

— Если бы они плакали уже во второй раз,— повторил он,— во второй раз, когда посадили бы их мужей. А в первый раз плакали бы тогда, когда их мужья вступали в фашистскую партию. Но тогда они не плакали. Они проявляли чрезмерную покорность и дисциплину, которую я, немец, ненавижу в немцах.

Уже не помню всех подробностей этого разговора. Помнится, говорили еще о национальных чертах немецкого народа, о нынешнем состоянии Гинденбурга... Записал только то, что больше всего запомнилось в этом сложном разговоре. Остальное как-то запуталось в голове.

Беседа наша закончилась далеко за полночь. Старик мне по-человечески понравился. Были в нем спокойствие и убежденность при полном отсутствии трусости. Он говорил так, как думал, независимо от того, могло мне это понравиться или не могло. И в этом было какое-то обаяние...

МЕЖДУ ГЛАВАМИ

Человек, с которым я разговаривал в ту ночь в Гинденбурге, казался мне глубоким стариком. Когда тебе двадцать девять, разница в тридцать с лишним лет кажется особенно огромной.

Пожалуй, это ощущение возраста придавало тогда в моих глазах дополнительный вес словам моего ночного собеседника и заставляло без особых раздумий брать их на веру.

Тогда мне вообще казалось, что старые люди реже кривят душой...

Но сейчас, перечитывая свою запись того разговора, думаю о том, что этот, несомненно, сам по себе мужественный и значительный человек представлял в своих размышлениях не только личные взгляды, но и взгляды католической партии центра, нашедшей политических наследников в послевоенной Германии. Думаю, что на самом деле отношение той партии, к которой он принадлежал, к властям фашистской Германии было, как подсказывает история, и сложнее и неоднозначней, чем об этом мог судить с его слов си-

девший перед ним тогда двадцатидевятилетний советский офицер.

Перечитывая тот разговор, испытываю сейчас некоторое недоверие к своему тогдашнему ощущению, что он говорил так, как думал.

Пожалуй, будет верней сказать, что хотя он не говорил мне того, чего не думал, но при этом и не говорил всего, что думал. Допускаю, что с его стороны это был разговор по принципу: два пишется, один в уме. Во всяком случае, так заставляет меня думать приобретенный с тех пор опыт политической жизни.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Записная книжка за 7 и 2. 4. 45

Вчера в середине дня, оставив Альперта в Пщине, я один поехал на «виллисе» в новый пункт расположения штаба 38-й армии. Штаб стоял теперь у поселка, который назывался Эмма. Здесь были огромная шахта и большой коксохимический завод. И то и другое мы захватили целыми, и шахта и завод работали. Воздух был наполнен угольной пылью, повсюду стояли черные угольные озера, с черной, грязной водой. Почва тоже была черная. На домах осела копоть. Пейзаж был мрачный. Ортенберг, как и раньше в Пщине, жил рядом с начальником штаба армии в красном, казарменного типа кирпичном здании. Мрачное снаружи, оно, как и многие немецкие жилища, было уютным внутри.

Я приехал к Ортенбергу, когда уже наступила темнота. Мы выпили с ним по стакану чаю. И я стал звонить, выяснять, где сейчас находится Москаленко: здесь, в штабе, или на наблюдательном пункте? Я хотел его увидеть.

После звонков выяснилось, что Москаленко находится на НП. Там у него сидят сейчас и Еременко и Мехлис. Мехлиса я так или иначе непременно хотел видеть, чтобы выяснить у него, как обстоят дела с предполагаемым приездом Бенеша. Насколько мне было известно, предполагалось, что Бенеш в ближай-

шие дни впервые должен был появиться на освобожденной территории Чехословацкой республики. Предполагалось, что по этому поводу в Кошице будет торжественный митинг или заседание, и я думал, что если так, то мне следует туда поехать, чтобы закончить корреспонденцией об этом свои чехословацкие очерки для «Красной звезды».

Ортенберг решил ехать на НП вместе со мной. Мы сели в открытый «виллис» и двинулись. Ехать пришлось вкруговую. Наблюдательные пункты и армии и фронта находились в двух километрах от передовой, но ехать к ним надо было круглым путем через Лослау и Раднюк. Только оттуда можно было потом повернуть на деревню Ставки, где помещался наблюдательный пункт Москаленко. Мы выехали из поселка Эмма уже почти в темноте. Навстречу нам в поселок въезжал какой-то обоз. На первой подводе ехал старый солдат повозочный в засаленном ватнике, замурзанной ушанке. Он дергал поводья, подгоняя притомившуюся лошадь, а на глазах у него были великолепные автомобильные, закрытые со всех сторон немецкие очки — «консервы»...

Лослау, в котором я так и не побывал до сих пор, имел примерно такой же вид, как и Зорау в день его взятия. Правда, здесь уже ничего не горело, но все равно тянуло дымом и гарью. По дороге в сторону передовой шло много пехоты, тянулись пушки. Ортенберг сказал, что, очевидно, это выдвигают из резерва 11-й корпус, который собираются вводить в дело.

Когда мы подъехали к Ставкам, вдали слышалась пулеметная стрельба. Пришлось погасить свет, потому что этот участок дороги просматривали немцы. Мы свернули к нескольким стоявшим в стороне домикам и доехали до самого последнего из них.

В первой комнате сидели адъютанты Москаленко и Мехлиса, которых я знал в лицо, и другие, еще не знакомые мне.

Ортенберг открыл дверь во вторую комнату. В ней громко разговаривали. Первым, кого я увидел через дверь, был Еременко. Он стоял у противоположной стены и имел в этот момент очень представительный вид. На лоб была низко надвинута генеральская фуражка, глаза закрыты роговыми очками, шинель застегнута на все пуговицы, а на груди висел полевой

бинокль. Он стоял у стены, выставив вперед одну ногу, и держал руки в карманах.

Ортенберг козырнул ему. Еременко весело поздоровался с ним и обменялся несколькими словами. Вслед за Ортенбергом вошел и я. Против ожидания Еременко, с которым мы виделись до этого всего дважды за войну, узнал меня и протянул руку.

— Здравствуйте! Смотрите, какие вы усы отрастили, совсем гусарские.

— Я уж давно ими обзавелся,— сказал я.

— Ну-у, тогда все же не такие были. А теперь вовсе гусарские,— сказал Еременко.

Поздоровавшись с другими, я отошел и стал в уголке, чтобы не мешать. Хотя дело шло уже к десяти вечера, но дневная горячка еще продолжалась. Только что был решен вопрос о вызове на совещание командиров корпусов и их начальников артиллерии в связи с предстоящим через день или два новым этапом наступления.

В комнате шли разговоры о будущем форсировании Одера. Насколько я понял из них, немцы уже начали общий отход за Одер, оставляя на этой стороне заслоны. Шла речь о двух этапах нашей операции. 126-й корпус, который до сих пор наступал на направлении главного удара, должен был форсировать Одер и занять плацдарм на том берегу, а после этого уже с захваченного плацдарма должен был вводиться в бой свежий 11-й корпус, о котором в свое время тосковал Москаленко, что этот корпус собираются отдать не ему, а соседу. Теперь этот корпус, который мы видели сегодня движущимся по дорогам, очевидно, как это и хотелось Москаленко, поступал в его распоряжение для использования на участке 38-й армии.

Москаленко говорил мне когда-то, что Петров обещал ему дать этот корпус для развития успеха. Очевидно, после недавней попытки наступать на участке 1-й Гвардейской сейчас, когда прошла первая горячка перемен, перестановок, отмены прежних и принятия новых решений, горячка, обычно связанная с назначением нового командующего, Еременко в итоге вернулся к первоначальному плану и решил вводить этот корпус там же, где его думал вводить и Петров. Так, по крайней мере, я понял сложившуюся обстановку, насколько мог схватить ее на лету.

Разговор в комнате разворачивался сразу в нескольких направлениях. Во-первых, Москаленко звонил по телефону командирам корпусов и начальникам артиллерии, вызывая их на совещание. Во-вторых, присутствующие в комнате обсуждали, как лучше встретить людей, вызванных на совещание, и куда лучше выслать маяков, чтобы они не теряли времени на блуждания и попали бы прямо в переменивший свою дислокацию штаб 38-й армии. В-третьих, шло горячее препирательство о принципах использования артиллерийской дивизии прорыва, которая находилась сейчас в распоряжении Москаленко. Началось это препирательство с вопроса о том, необходимо или нет вызывать на это совещание командира артиллерийской дивизии.

— Конечно, необходимо,— сказал Еременко.— Он же командует дивизией.

— Да,— сказал Москаленко.— Но практически большая часть его хозяйства роздана по корпусам.

— Как роздана? — спросил Еременко.— А у вас что из этого хозяйства остается?

Москаленко перечислил то, что оставалось непосредственно в его распоряжении.

— Это неверно,— сказал Еременко.— Это неверно, что вы раздали дивизию. Она должна быть в одних руках. Вам же не случайно дали дивизию. Есть командир дивизии, который ею командует, а вы им. Вы и ваш командующий артиллерией. А так раздадите дивизию и потом не соберете.

— Если бы был другой командир дивизии, тогда другое дело,— сказал Москаленко.

— А что, неудачный попался? Так подкрепите его кем-нибудь, но это не причина, чтобы растаскивать дивизию. Нет, я с этим не согласен. Лучше соединить и держать ее всю в своих руках.

После этого зашел спор о диверсионных группах. Мехлис настаивал на отправке диверсионных групп для взрывов в тылу у немцев мостов и переправ через Одер.

— С тем, что надо заслать диверсионные группы, я согласен,— сказал Еременко. И, перестав стоять у стены, сел на диван.— А вот с тем, что надо взрывать мосты... Не надо взрывать мосты. Зачем нам взрывать мосты? Абсолютно лишнее взрывать их. Надо захватывать мосты, чтобы иметь возможность по ним перейти.

Он говорил все это довольно резко, и его слова казались справедливыми.

Но Мехлис тоже резко возразил, что нам потребуется еще время для того, чтобы подойти к Одеру по всему фронту. А между тем пока что сейчас у немцев на этом берегу и танки, и пехота, и артиллерия; и диверсанты сделают достаточно большое дело, если именно теперь взорвут в тылу у немцев мосты и, таким образом, заставят немцев бросить всю технику, которая у них на этом берегу.

— Нет,— возразил ему Еременко.— Все равно неверно. Вся основная артиллерия у немцев сейчас на том берегу, за Одером. А раз основная артиллерия уже на том берегу, то снаряды ему через мосты возить сюда, на этот берег, не нужно. А если речь пойдет о снарядах для каких-нибудь двух десятков пушчонок, которые он оставил на этом берегу, так он так и так эти снаряды, если понадобится, перетащит! А скорее всего, они у него здесь же находятся, при этих пушчонках. А мосты желательно захватить. Нам это очень облегчит продвижение. Учтите психологию,— добавил он.— Саперы на мосту остаются последними. Уже все должны пройти мимо них. Только потом саперы на мосту остаются. А они могут струсить. Могут быть убиты одним снарядом. Может, наконец, запал отказать. А дублированный запал не всегда есть. Может проводку перебить... Мосты гораздо чаще остаются неразрушенными, чем мы это себе теоретически представляем!

Пока Еременко спорил с Мехлисом, Москаленко продолжал вызывать к телефону своих командиров корпусов. Связь несколько раз прерывалась, не ладилась. Еременко, прекратив разговор с Мехлисом, несколько минут сидел молча, откинувшись на спинку дивана, следил за тем, как разговаривает по телефону Москаленко. Теперь, когда командующий фронтом снял очки, хорошо было видно его лицо. Оно было широкое, с каким-то странным сочетанием одновременно мужественного, солдатского и чего-то немножко бабьего. Лицо его можно было бы назвать добродушным, но под бровями сидели маленькие сердитые, сверлящие глазки. И ими он сейчас и пробуравливал Москаленко.

Москаленко продолжал говорить по телефону, целиком отдавшись этому, иногда переходя на крик из-за плохой слышимости. Еременко молчал, молчал

и наконец сказал своим неожиданным при таком большом мужественном теле тонким, бабьим голосом:

— Товарищ Москаленко, зачем вы этим занимаетесь? Составьте список и поручите это своим адъютантам, пусть в другой комнате звонят, добиваются, разговаривают... Зачем вы сами этим занимаетесь?

— Я сейчас сам им дозвонюсь,— сказал Москаленко, не отходя от телефона.

— Да не надо вам им всем звонить,— повторил Еременко уже сердито.— Не надо. У вас есть штаб, адъютанты, есть телефон в соседней комнате. Прикажете, и вам всех их вызовут. Скажите, к какому часу явиться, и пусть попробуют этого не обеспечить. Что вы, в самом деле, сами себе за адъютанта!

Но телефона, по которому можно было бы связаться с командирами корпусов, в соседней комнате не было, он был только в соседнем доме, и Москаленко, махнув рукой, упрямо стал сам дозваниваться до последнего командира корпуса. С остальными он уже поговорил.

После этого началось препирательство, кого поставить маяками, чтобы встретить тех, кто придет на совещание.

— Я уже отдал приказание послать офицеров на восточную окраину Лослау,— со сдерживаемым раздражением сказал Москаленко.

— Ну, не обязательно офицеров,— возразил Еременко.— И зачем на окраину? Окраина — это неточно. Лучше около регулировщиков.

Москаленко закурил губу. Его заметно злили и вообще этот разговор, и тот правоучительный тон по мелочам, который вдруг принял на себя Еременко. А я в эту минуту невольно вспомнил Петрова, его стиль отношений с подчиненными, в том числе и с командующими армиями. Он был предельно тактичен и, раз отдав какое-то приказание, в дальнейшем предоставлял остальное инициативе подчиненных.

По мелочному разговору, который вдруг сейчас при мне произошел, я почувствовал, что Еременко — командующий совершенно другого стиля, чем Петров, что он любит влезать в мелочи, и, как говорится на фронте, «сидеть» на подчиненных, и непрерывно им что-то указывать, и в чем-то их поправлять. Записываю это не в осуждение. Подумав об этом, я вместе с тем подумал и о другом: что наша армия еще не идеально отработанный механизм и наши командиры,

вплоть до командующих армиями, тоже еще не идеально организованные люди и, быть может, нельзя целиком стать тут на сторону Петрова; быть может, не верен ни тот, ни другой метод, а верно что-то среднее между тем и другим.

Пришли два офицера связи с докладами. После них появился капитан, начальник разведки корпуса. Еременко поднялся ему навстречу и сказал:

— Значит, это ты мне должен Одер разведать? Возьми собери мне там всех жителей, всех окрестных стариков, чтобы они тебе точно рассказали, когда и сколько воды бывает, где можно лодками, где есть броды, где и какие существуют мосты и переправы. Чтобы у тебя была полная картина. Понятно тебе?

— Так точно, — сказал капитан.

И только-только собрался сказать «разрешите идти», как Еременко сам с грубоватой лаской повернул его за плечи, чуть-чуть подтолкнув в спину, сказал:

— Ну, иди.

Я подошел к Мехлису и тихонько, чтобы не мешать другим шедшим в комнате разговорам, спросил его, как обстоят дела с предполагаемым приездом Бенеша.

Он сказал, что Бенеш уже в дороге, едет поездом и третьего будет в Кошице.

Я спросил, поедет ли Мехлис встречать Бенеша.

— Мне таких указаний нет, — сказал он. — Те, в чей круг обязанностей входит его встретить, уже выехали туда. А у меня, если не будет особых указаний, встречаться с Бенешем нет никакого желания.

Я сказал Мехлису, что поеду завтра в Кошице, посмотрю все, что там произойдет в связи с приездом Бенеша, и прямо оттуда отправляюсь в Москву с материалом. Потом, скорее всего, меня пошлют в какую-нибудь другую командировку, в другое место, а после нее — где-нибудь, через месяц — я постараюсь вновь оказаться на Четвертом Украинском фронте.

— Да, — сказал Мехлис, — думаю, что в Кошице соберется сейчас много корреспондентов.

— Хорошо, если бы оттуда, прямо из Кошице, организовать самолет в Москву, чтобы сразу отвезти туда все материалы, в том числе фотографии, — закинул я удочку.

— Это еще зачем? — сухо и с раздражением, которого я от него в эту минуту не ожидал, сказал Мехлис. — Зачем самолет гонять, бензин жечь?

— Вопрос в сроках, — сказал я.

— Ну, о сроках пусть заботится тот, кто заинтересован в получении этих материалов, — все так же резко и сухо ответил он.

Меня этот ответ удивил. От кого от кого, а от него, старого газетчика, я ожидал другого.

В это время Москаленко закончил говорить по телефону. В комнате наступило молчание. Мехлис вдруг поднялся и сказал, обратившись к Еременко:

— Я думаю, мы к себе теперь поедем?

— Да, да, — сказал тот. — Поедем. — И крикнул через всю комнату в адъютантскую: — Машину! Поехали. Всего доброго.

Они простились и вышли.

Москаленко и Епишев минуты две или три молчали, потом Москаленко сел за стол, положил перед собой лист бумаги и, взяв в руку карандаш, сказал:

— Буду приказ писать. Слава богу, уехало начальство.

— Да, — сказал Епишев, — наконец-то Лев Захарович, спасибо ему, сообразил, что надо людям работать дать.

— Ох, не люблю, когда у меня над душой сидят, — сказал Москаленко и, подложив левую руку под щеку, стал писать приказ.

После того как он его закончил, мы, рассевшись по машинам, с потушенными фарами поехали в штаб армии, обратно, той же дорогой, которой ехали сюда.

Приехав в штаб армии в двенадцатом часу, Ортенберг ушел на совещание с командирами корпусов, а я засел за свои записи. Давид вернулся только в три часа ночи. Мы сели с ним перекусить, и, пока перекусывали, я рассказал ему о своем разговоре с Мехлисом насчет самолета.

— Что? Сорвалось с самолетом? — рассмеялся он. — Так и надо было ожидать, чтоб ты знал! Никто не относится хуже к газете, чем старые газетчики, когда они переходят на другую работу. Вот и я! Ты думаешь, я много занимаюсь нашей армейской газетой? Да ничего подобного. Сначала немножко еще влезал в их дела, а потом перестал, махнул рукой.

Мы легли в четыре. А в шесть утра уже оба поднялись. Давид уезжал в войска, а мне надо было спешить в Кошице. Мы обнялись на прощание, и я сел в «виллис».

МЕЖДУ ГЛАВАМИ

На моем отъезде в Кошице заканчиваются записные книжки, которые я вел весной 1945 года на Четвертом Украинском фронте.

Город Моравска Острава был освобожден войсками 38-й и 1-й Гвардейской армий почти через месяц после моего отъезда оттуда — 30 апреля 1945 года.

В уже упоминавшейся мною книге воспоминаний маршала К. С. Москаленко немало страниц отведено двум первым этапам наступления на Моравску Оставу, свидетелем которых я был.

Эта книга внесла для меня ясность в некоторые вопросы, волновавшие меня тогда, в марте — апреле 1945 года, когда я вел свои записки, находясь, главным образом, в частях 38-й армии.

Законная гордость тем вкладом в общее дело победы, который сделали войска Четвертого Украинского фронта, и в их составе 38-я армия, сочетается в книге с духом самокритичности там, где речь идет о наших просчетах и временных неудачах.

Анализируя причины первого неудачного этапа наступления, Москаленко пишет: «Сделанное мною столь подробное описание недостатков Моравско-Оставской наступательной операции, на мой взгляд, необходимо, так как, кроме нее, ни на одном фронте в 1944 году, а тем более в 1945-м, не складывалась подобная ситуация, не срывалось столь неожиданно наступление, и этот неуспех, если знать его причины, тоже должен быть учтен при обучении войск и подготовке штабов. Причем я отнюдь не отношу перечисленные недостатки только на счет командования и штаба фронта. Командование и штабы армий, в том числе и я, также могли сделать больше как при планировании фронтовой операции, так и в части обеспечения внезапности наступления...»

Говоря о втором этапе наступления, более успешном, чем первый, Москаленко упоминает о новых сложностях, возникших на этом этапе.

«...Мы сразу же начали подготовку к наступлению

на новом участке. Правда, на следующий день оказалось, что сил у нас будет меньше, чем я предполагал. Ибо командующий получил распоряжение Ставки о передаче Пятого гвардейского механизированного корпуса Первому Украинскому фронту...»

Подводя итоги второго этапа операции, бывший командующий 38-й армией пишет:

«...Таким образом, при несомненном успехе на втором этапе операции, особенно по сравнению с первым, мы вынуждены были с огорчением констатировать, что поставленная задача не была полностью выполнена, войска армии не смогли овладеть Моравской Оставой».

Второй этап операции закончился 5 апреля, когда 38-я и 1-я Гвардейская армии после выхода к Одеру и захвата плацдармов на его западном берегу по приказу Ставки перешли к обороне для подготовки к дальнейшему наступлению.

Этот третий, последний, этап наступления начался 15 апреля.

Через пятнадцать суток — 30 апреля Москва двадцатью залпами из двухсот двадцати четырех орудий салютовала освободившим города Моравска Острава и Жирич войскам Четвертого Украинского фронта, в том числе Чехословацкому корпусу. Но Моравско-Оставская операция еще не была закончена; она продолжалась до 5 мая...

Хочу в этой связи привести еще одну выписку из книги маршала А. А. Гречко. Вот как оценивает события того периода бывший командующий 1-й Гвардейской:

«Освобождение Моравской Оставы явилось переломным моментом в ходе боевых действий 4-го Украинского фронта. Лишившись мощного Моравско-Оставского укрепленного района, немецко-фашистские войска уже нигде больше не смогли создать достаточно прочной и устойчивой обороны...

Моравско-Оставская операция войск 4-го Украинского фронта, длившаяся 57 дней, закончилась овладением Моравско-Оставским промышленным районом, имевшим большое экономическое значение для Германии. Это открыло нашим войскам ворота в центральную часть Чехословакии».

К сожалению, я, как корреспондент «Красной звезды», не был свидетелем этого последнего, завершающего этапа операции; приехать, как я собирался,

еще раз на Четвертый Украинский фронт мне до конца войны так и не удалось.

После возвращения в Москву мне пришлось заканчивать там работу над своими чехословацкими очерками; последний из них появился в «Красной звезде» 20 апреля, а 21 апреля я вылетел на Первый Украинский фронт. Своим правым крылом он в это время подходил к Берлину, а в центре приближался к Эльбе.

На этот раз задание редакции мне и вылетевшему вместе со мной А. Ю. Кривицкому было одно-единственное, но категорическое: во что бы то ни стало первыми оказаться там, где произойдет первое соединение наших войск с американцами.

Прилётев в штаб фронта и проинформировавшись, мы сразу же выехали в 5-ю Гвардейскую армию генерала Жадова, на участке которой скорее всего предвиделось соединение.

Оно состоялось 25 апреля на берегу Эльбы, недалеко от городка Торгау.

Я присутствовал при нем. Остались фотографии, снятые там, на Эльбе, вместе с нашими и американскими солдатами и офицерами, остались в ящике стола тогдашние сувениры — никелированные американские знаки различия, полученные в обмен на вытащенные из запасных погон офицерские звездочки, остался черновик коротенькой корреспонденции, отправленной оттуда, из-под Торгау, в «Красную звезду». В нем фамилии командиров первых соединившихся дивизий: американской — генерала Рейнхардта, нашей — генерала Русакова; фамилии командиров американского и нашего патрулей — лейтенанта Робертсона и лейтенанта Сильвашко, — людей, первыми встретившихся там, на Эльбе, где между нами и американцами наконец не осталось ни одного фашистского солдата.

Осталась в памяти и мера испытанной тогда радости, очень большой и в те дни у меня лично еще не отягощенной никакими будущими сомнениями и опасениями. Вместе с двумя своими товарищами я махнул потом через Эльбу к американцам, сначала в Лейпциг, который удивил меня тем, что там на перекрестках стояли шуцманьы, хотя и без оружия, но в полной немецкой полицейской форме, а потом в Наумбург, где у американцев был пресс-кемп военных корреспондентов и где у нас впервые за войну

шла затянувшаяся на всю ночь до утра взаимная неофициальная пресс-конференция американских, английских, французских и советских военных корреспондентов.

В памяти осталось многое. Но в сохранившихся блокнотах того времени обо всем этом ничего нет, хоть шаром покати!

Первая сохранившаяся дневниковая запись относится к той ночи, когда мы уже переправились обратно через Эльбу...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Дневниковые записки за 30.4—10.5.45

Вернувшись от американцев, мы с Кривицким поехали в штаб Конева. Там, где он стоял несколько дней назад, его уже не было. Сделав к утру еще сто километров и найдя штаб, я по старому знакомству прорвался к Петрову¹, который был занят по горло и только махнул мне рукой: садись и жди.

Когда он освободился, я вдруг спросил его:

— Иван Ефимович, что будете делать после войны?

Еще никому не задавал таких вопросов. Не приходило в голову. А теперь, после встречи с американцами на Эльбе, пришло. Но Петров сам уже думал об этом, выслушал вопрос без удивления и ответил, как о решенном:

— Попрошусь в Туркестанский округ. Оттуда уехал на войну, туда и вернусь. А если нет, безразлично, поеду, куда прикажут,— сказал и несколько раз подряд дернул контуженной головой, словно поддакивая сам себе.

Я спросил про Берлин. Выяснилось, что там бои идут к концу и сейчас уже можно махнуть туда прямо по автостраде. Ее пытались перерезать прорывающиеся назад от Одера немцы, но, по последним донесениям, сообщение восстановлено.

¹ К тому времени ставшему начальником штаба Первого Украинского фронта.

Немного не доехав до большого берлинского кольца, увидели на автостраде и вокруг нее страшное зрелище. В этом месте по обе стороны автострады густой лес и через него поперечная просека, которой и в ту и в другую стороны не видно конца. Вот по этой-то просеке, используя ее как лесную дорогу, и пытались прорваться через автостраду немецкие войска, уже во время штурма Берлина все еще стоявшие на Одере. То пересечение просеки с автострадой, к которому мы подъехали, стало сегодня под утро местом их окончательной гибели.

Картина такая: впереди Берлин, справа просека, сплошь забитая чем-то совершенно невероятным — нагромождение танков, легковых машин, броневиков, грузовиков, специальных машин, санитарных автобусов. Все это, буквально налезшее друг на друга, перевернутое, вздыбленное, опрокинутое и, очевидно, в попытках развернуться и спастись искрошившее вокруг себя сотни деревьев.

И в этой каше из железа, дерева, оружия, чемоданов, бумаг, среди чего-то непонятого, сожженного и почерневшего — месиво изуродованных человеческих тел. И все это уходит вдоль по просеке буквально в бесконечность. А кругом в лесу снова трупы, трупы, трупы разбегавшихся под огнем людей. Трупы вперемешку, как я вдруг замечаю, с живыми. Эти живые — раненые — лежат на шинелях, на одеялах, сидят, прислонившись к деревьям, одни перевязанные, другие окровавленные и еще не перевязанные. Некоторые раненые, замечаю это не сразу, лежат на одеялах и шинелях вдоль самой обочины дороги. Потом замечаю — тоже не сразу — фигуры бродящих между ними людей, очевидно, врачей и санитаров.

Все это справа. Посредине дорога. Широкая, асфальтовая, уже расчищенная для движения. На расстоянии в двести метров она избита, как громадной сыпью, большими и маленькими воронками, мимо которых зигзагами несутся к Берлину фронтовые машины. На асфальте пятна масла, бензина, крови. Слева от шоссе продолжается просека. Часть немецкой колонны, уже прорвавшейся через шоссе, была уничтожена там. Снова тянущееся в бесконечность месиво сожженных и разбитых, опрокинутых машин. Снова трупы и раненые.

Все это произошло перед рассветом, каких-нибудь шесть часов назад, уже после того как мы выехали

от Петрова. Как мне наспех объясняет какой-то офицер, вся эта огромная колонна была накрыта здесь огнем нескольких полков тяжелой артиллерии и нескольких полков «катюш», на всякий случай сосредоточенных поблизости и заранее пристрелянных по этой просеке, так как попытка прорыва немцев именно здесь считалась одним из наиболее реальных вариантов.

Миновав это страшное место, через несколько километров увидели шедшую нам навстречу со стороны Берлина колонну из пяти или шести санитарных машин. Очевидно, кто-то распорядился бросить сюда на помощь медиков из наших медсанбатов. Но по сравнению с масштабами побоища эти первые пять-шесть машин — капля в море...

Часа через полтора мы добрались до Берлина, до его южных окраин. Нам хотелось попасть поближе к центру, но мы толком не знали, в какой армии надо оказаться, чтобы добраться туда, и, как это часто бывает на фронте, потеряли немало времени на выяснения и розыски.

Сначала попали в армию генерала Лучинского, но не стали в ней задерживаться, потому что она передавала занятые ею кварталы города соседу справа, а сама передвигалась куда-то влево.

Потом попали к танкистам и случайно наткнулись на самого командующего 3-й танковой генерала Рыбалко. На перекрестке двух разбитых улиц стоял «виллис», а мимо шли танки с открытыми люками. Рыбалко сидел на бампере «виллиса», упираясь спиной в радиатор, и смотрел на свои проходящие танки. По майской, теплой погоде он был странно одет в зимнюю, подбитую мехом суконную бекешу. Видимо, болел — желтое, нездоровое лицо человека, превозмогающего сильную боль. Разговаривал с нами почти сквозь зубы. Я сказал, что мы хотим остаться у него в армии, и спросил, в какую из его частей поехать, чтобы оказаться поближе к центру Берлина.

— Ни в какую, — сказал он. — Берлином больше не занимаемся. Перемещаемся. Куда? Много будете знать, скоро состаритесь! Оставайтесь с нами, в свое время выясните.

Я сказал ему, что нам нужно быть в Берлине. Он пожал плечами и, больше не обращая на нас внимания, повернулся к своим подчиненным. Мне в ту минуту показалось, что он зол на то, что его армии

приказали куда-то перемещаться, что ему самому хочется остаться и доколотить фашистов в Берлине. Мы никак не представляли себе тогда, что через неделю танки именно этого сквозь зубы говорившего с нами генерала первыми ворвутся на улицы Праги. Если б знали, может, и остался бы у него.

Не зная обстановки, перебираясь из части в часть, из одного берлинского района в другой, проканителюсь целый день и целую ночь в разных, относительно мало интересных пунктах Берлина и наконец попали в армию Чуйкова, когда он уже принял от Вейдлинга капитуляцию берлинского гарнизона.

Последние затихавшие схватки шли только с отдельными, еще не узнавшими о капитуляции немецкими частями и с не подчинившимися приказу группами СС. Как ни проклинали мы себя за то, что упустили возможность присутствовать хотя бы при переговорах о капитуляции, но факт остается фактом, я, в общем, так и не видел того, что называлось штурмом Берлина. Видел только его последние всплески, даже не предсмертные, а посмертные судороги фашизма...

Близко к вечеру. Подходим к полуразломанной стене зоопарка Цоо. Эстакада городской железной дороги. У эстакады много трупов. Лежат вповалку, кто навзничь, кто лицом вниз. На мостовой жидкая, еще не потемневшая кровь. Все произошло только что. Здесь дрался какой-то небольшой эсэсовский отряд. У эстакады два изуродованных пулемета и полтора десятка трупов, среди них две убитые женщины в эсэсовской форме. И как всегда, когда я видел на войне убитых женщин, я и здесь, несмотря ни на что, несмотря на их эсэсовские мундиры, испытывал чувство какого-то особого содрогания и жалости.

Перелезаем через обломки ограды Цоо и забредаем в словеник. Большая часть его разбита бомбежкой. В единственном оставшемся секторе ходит унылый голодный слон. Что слон голодный, узнаю от сторожа, старика немца. Он с женой до конца оставался здесь, в Цоо, и, когда я начинаю объясняться с ним на моем ломаном немецком языке, он сейчас же начинает просить у меня провианта для своих животных. Потом предлагает мне посмотреть Цоо:

— Правда, у нас мало что осталось...

Старик идет впереди, мы за ним. Он показывает 213

нам свой зоологический сад спокойно, профессионально, так, словно здесь ровно ничего не произошло.

На дорожках трупы немцев.

На садовой скамейке труп нашего солдата. Голова завернута в шинель. Положили на скамейку, а похоронить еще не успели.

Но смотритель не обращает внимания на трупы, он ведет нас по зоологическому саду и все время говорит о животных. И это становится все более диким.

Наконец подходим к бассейну с бегемотами, позади которого высится цементная скала. Один бегемот лежит на скале и тяжело дышит. А другой, убитый, плавает в воде. В боку его торчит стабилизатор мины. Она убила его, застряв по стабилизатор, но не разорвалась. Я смотрю на этот торчащий из туши бегемота стабилизатор и думаю о том, что, когда буду рассказывать об этом, мне не поверят. Другой бегемот опускается в воду и плывет, не приближаясь к убитому, словно понимает опасность.

Обезьянник. Несколько наших солдат стоят над большим котлованом, в котором бегают маленькие обезьяны. У солдат усталый вид. Они продымленные, грязные, но все равно с интересом стоят и смотрят на обезьян. Потом один солдат лезет через парапет вниз и неожиданно ловко ловит маленькую обезьянку. Она кусает его, и мне кажется, что он сейчас убьет ее. Но он не убивает ее, а смеется и говорит: «Кусается!» Говорит с удивлением и удовольствием, как о живом существе, вдруг напомнившем ему что-то приятное и далекое от войны. Потом отшвыривает обезьянку от себя и, потеряв ко всему этому всякий интерес, перелезает обратно через парапет, устало бредет по аллее и ложится спать на скамейку, через две или три от той, на которой лежит убитый.

Вслед за стариком немцем подходим к кирпичному домику. Он открывает дверь, говоря на ходу, что это тоже обезьянник и что в нем самая большая в Европе горилла и самый большой в Европе шимпанзе. Шагаем за немцем в домик. Его разделяет пополам толстая решетка. За этой решеткой возвышение — метр бетона, и на нем настил. На этом настиле, разделенные поперечной решеткой, лежат огромная горилла и очень большой шимпанзе. У бетонного уступа, выше которого начинается решетка, лежат два убитых эсэсовца. Третий, тоже мертвый, сидит, прислонившись спиной к уступу и держа на коленях автомат.

Видимо, они все трое сбежались сюда и были убиты, может быть, одной очередью из автомата, данной кем-то из дверей. А сзади убитых эсэсовцев, на метр выше них, лежат в своих клетках шимпанзе и горилла, тоже, как я теперь понимаю, мертвые. Уже потемневшие струйки крови тянутся от них вниз по бетону. Сторож стоит рядом с нами у дверей. Кажется, ему очень жалко обезьян. Он стоит молча и постариковски трясет головой.

Все, вместе взятое, с необыкновенной силой вдруг и навсегда врезается мне в память. И даже не как что-то символическое, а просто как предел загнанности: мертвые обезьяны, мертвые эсэсовцы, этот домик без окон, клетки, прутья...

Заходим в один из берлинских наземных бетонных бункеров. Громадное бетонное здание, похожее на элеватор. На верхних этажах окна, закрывающиеся громадными металлическими ставнями. Внизу железная дверь. Наверху вместо крыши чудовищной толщины сплошная бетонная плита. Говорят, там, на этой плите, тоже стоят или стояли зенитки. Не знаю, так ли это, снизу не видно.

Внутри бункера, как говорят, размещались штаб противовоздушной обороны и, кроме него, штаб какой-то эсэсовской части.

Входим в железную дверь. Навстречу ведут пленных. Конвоирующий их младший лейтенант говорит, что на четвертом этаже нашли застрелившегося немецкого генерала. Застрелился только что. Когда обыскивали помещение, натолкнулись на запертую дверь и стали взламывать ее. Пока взламывали, он застрелился.

Идем на четвертый этаж. Электростанция не то взорвана, не то выключена. Идем с карманными фонариками по коридору, вдоль которого направо и налево маленькие комнаты, где по двое и по трое жили на казарменном положении разные чины ПВО и СС. Входим в ту, где застрелился генерал. Дверь утапливается в стену, как в вагоне. Кто знает, почему ее ломали, а не рванули, как обычно в таких случаях, гранатами? Наверное, старались взять тех, кто там, за ней, непременно живыми...

Стол, упирающийся одним концом в стену, другим в койку, перед столом стул. На стуле китель с эсэсовскими знаками различия. На койке лицом к двери лежит с открытыми глазами мертвый генерал, рослый

сорокапятилетний человек, коротко стриженный, с красивым спокойным лицом. Его правая рука с зажатым в ней парабеллумом лежит вдоль тела. Его левая рука обнимает за плечи молодую женщину, втиснувшуюся между ним и стеной. Женщина лежит с закрытыми глазами. Она молодая, красивая, не то в белой блузке, не то в рубашке с короткими рукавами и в форменной юбке. Генерал в чистой рубашке, в распахнутом на груди кителе и в сапогах. Между ногами у генерала зажата недопитая бутылка шампанского.

Вдруг понимаю, что раз генерал в кителе, то, значит, тот, другой, повешенный на стуле эсэсовский китель принадлежал этой мертвой женщине. То же самое ощущение полной загнанности, тупика, которое ни на минуту не покидает меня все это время в Берлине...

Рейхстаг. К нему уже целое паломничество. Идут и идут люди. А на той стороне реки, в ста пятидесяти метрах, еще отстреливаются из пулеметов какие-то немцы и методично каждую минуту бьет и бьет по дому прямой наводкой наша самоходка...

Аллея Победы. Мертвые тела, изуродованные зенитки. Много, как нигде, разбитой, искалеченной зенитной артиллерии. Перевернутые немецкие грузовики, разбитые танки — немецкие и наши...

А потом зрелище имперской канцелярии. Ищут труп Геббельса. Его уже один раз нашли, но потом кто-то усомнился, он ли это, и теперь его снова ищут. Ищут и труп Гитлера. Громадное здание с архитектурными пропорциями, рассчитанными на подавление психики. Чудовищность размеров, пустота и огромная длина анфилады призваны были сосредоточить внимание на одном человеке, выходящем из громадных дверей в ее конце.

Кабинет Гитлера поврежден бомбой и завален обломками. Одна из соседних комнат цела. Кто-то говорит мне, что это кабинет Бормана. Не знаю, возможно, и так.

Комната цела, но в ней все перевернуто. По полу рассыпаны какие-то квадратные бумажки. Поднимаю одну, переворачиваю, оказывается, это экслибрисы библиотеки Гитлера. Большое бюро с деревянной подвижной крышкой распахнуто и завалено вывороченными бумагами.

одном врытый в холм блиндаж с надписью: «Ле Гретт, начало декабря 1917 года. Командный пункт бригады». На другом какая-то разбитая церковь с надписью: «Коммин, 9 мая 1918». Приходит в голову, что, может быть, это рисунки самого Гитлера. Скорей всего, нет, но может быть и так, он ведь художник и был тогда на фронте где-то во Франции.

Кладу рисунки в полевую сумку. Беру еще фотографию, на которой надписано: «Бои со спартаковцами — Мюнхен, май 1919» и перенумеровано тушью несколько сидящих на повозке военных. Среди них под номером первым Рудольф Гесс. На полу кроме экслибрисов валяются почтовые карточки. Подбираю четыре и тоже сую на память в сумку. Почему они здесь? Может, их дарили на память с автографами? На трех улыбающийся Гитлер с маленькими девочками. На четвертой Компъен, вагон, квадратнолицый Кейтель через стол сует худому французскому генералу бумагу — условия перемирия.

Прохожу еще по нескольким комнатам. Несколько дальних завалено орденами и медалями. Ящики, коробочки, синие пакетики и просто по щиколотку на полу россыпь всего, что угодно — от железных крестов до медалей за тушение пожаров. Всего этого такое количество, что на секунду кажется, что это не имперская канцелярия, а склад какой-то огромной фабрики орденов.

Вылезаю через пролом в стене во двор. На дворе трупы последних, защищавшихся тут эсэсовцев. Санитары, теснясь, вытаскивают откуда-то из-под земли лежавших там раненых. На изуродованном воронками внутреннем дворике среди искореженных деревьев, обломков, обрывков чего-то — маленькая бетонная башенка и спуск в подземелье Гитлера.

Я смотрел на все это и думал о том, что, может быть, когда-нибудь задним числом всему этому в истории постараются придать величественный вид. Но сейчас все это производило впечатление чего-то уже не сражавшегося, а цеплявшегося за жизнь, чего-то сумбурного, до самого своего конца так и не понявшего, что с ним произошло.

Утрированная централизация фашистской власти сейчас, в момент ее гибели, выглядела каким-то странным абсурдом. Еще недавно в происходившем на моих глазах крахе фашизма было что-то по-мертвому страшное. Сейчас это чувство исчезло. Сегодня

от всего этого оставалось ощущение чего-то ничтожного, не сохранившего в себе ни одной детали былого разбойничьего величия Третьей империи. Чувствовалось, что они прятались, съеживались, забирались сюда, что их здесь сжимали, а они зарывались все глубже и глубже, уже ни на что не надеясь, а потом, опять надеясь, ждали какого-то чуда и сжимались все тесней, все уже смешалось не только вокруг них, но и внутри них самих, смешалось и перестало быть таким, как было.

Я никогда не принадлежал к людям, считающим, что нужно принижать врага, даже самого кровавого, преуменьшать его силу или отказываться признавать за ним то, что в нем действительно есть — ум или храбрость, или мужество отчаяния. Так, скажем, вспоминая осаду Тарнополя и страшные тарнопольские подземелья, в которых, когда мы наконец туда ворвались, я увидел тысячи тяжело раненных, умирающих и мертвых немцев, просидевших в осаде месяц и пять дней, то, поняв, как все это там происходило, я не мог в душе не уважать их храбрость, и Тарнополь остался у меня в памяти как мрачная, но по-своему эпическая картина.

Но эта рейхсканцелярия, этот последний пяточок, эти последние, обреченные на смерть эсэсовцы, и тут же в подземельях маленькие каморки Гитлера и Геббельса, и тут же над ними комнаты, набитые железными крестами, которых хватило бы еще на пять лет войны, и тут же экслибрисы уже несуществующей библиотеки, и тут же ~~группы, среди~~ которых по признакам физических недостатков разыскивают бывших властителей Европы...

Третье мая. Пыльный солнечный день. Несколько наших армий, бравших Берлин, двигаются сквозь него в разных направлениях, поднимая страшную пыль. Идут танки, танки, самоходки, «катюши», тысячи и тысячи грузовиков, орудия, тяжелые и легкие, прыгают на обломках противотанковые пушки, идет пехота, тащатся бесконечные обозы. И все это идет и лезет в город со всех концов. Растерянные жители на разгромленных улицах, на перекрестках, из окон домов подавленно смотрят на все это движущееся, гремящее, невероятно людное и совершенно бесконечное. Даже у меня самого ощущение, что в Берлин входят не просто дивизии и корпуса, а что через него сейчас проходит во всех направлениях целая Россия.

А навстречу ей, загромождая все дороги, ползут и ползут колонны пленных...

На огромном, чудовищно безвкусном памятнике Вильгельму Первому фотографируются на память группы солдат и офицеров. По пять, по десять, по сто человек сразу, с оружием и без оружия, то мрачные и усталые, то улыбающиеся и хохочущие...

Ночь. Едем. Пересекаем весь Берлин из конца в конец на «виллисе» вдвоем с шофером. Совершенно темно. Кажется, что в городе ни души. Не натыкаемся даже на регулировщиков. Запутываемся в незнакомых улицах, в диком нагромождении развалин, из которых то здесь, то там выхватывает фарами светлые куски наш потерявший дорогу «виллис». Два часа сплошных развалин. И ни звука. Вот когда я до конца почувствовал, как невероятно разрушен Берлин.

Сидим ужинаем в штабе Чуйкова. Рейхстаг, который почему-то в последние дни боев стал для всех нас символическим центром Берлина, заняли другие войска — армия Кузнецова, — но зато именно Чуйков принял капитуляцию берлинского гарнизона. Тот самый Чуйков, который в сентябре, октябре и ноябре сорок второго года оборонял Сталинград. А точнее сказать, не Сталинград, а три последних узких куска берега Волги под Сталинградом и несколько десятков домов, стоявших ближе всего к этому берегу. Видимо, сама история потрудились над тем, чтобы капитуляция Берлина выглядела особенно символично.

У Чуйкова традиция ужинать вместе со всем своим штабом, если позволяет обстановка. Сейчас она позволяет. Сидим на окраине Берлина в мешанском особняке. Первые полчаса проходят весело, поднимают тосты за победу, за взятие Берлина, за Сталинград, а потом все как-то вдруг притихают и от ужасной усталости всех последних дней, и от странного ощущения, что завтра не воевать. Уже известно, что армию пока никуда не перемещают из Берлина. Долго каждый день говорили: «Вот дойдем до Берлина, разгромим фашистского зверя в его логове, возьмем рейхстаг, захватим имперскую канцелярию...» Все именно так и вышло: и рейхстаг взят, и имперская канцелярия захвачена, и все мы сидим здесь, в фашистском логове, и ничего больше, чем взятый нами Берлин, взять уже нельзя, и ничья смерть уже не будет иметь такого значения, как

смерть Гитлера. И сколько бы еще ни длилась война, мы уже не в состоянии будем сделать на этой войне ничего более трудного и великого, чем сделали...

Мы пробыли в Берлине несколько дней, и с каждым днем все ясней чувствовалось, что капитуляция Германии приближается. Уже даже начали ходить разные близкие и далекие от истины слухи о ней, и вдруг, уже глядя на ночь, всех находившихся в Берлине корреспондентов, кого только смогли разыскать, вызвали срочно в штаб фронта.

Выехав из города, еще на полдороге к штабу фронта мы сразу и услышали и увидели отчаянную стрельбу по всему горизонту трассирующими пулями и снарядами. И поняли, что война кончилась. Ничего другого это не могло значить. Я вдруг почувствовал себя плохо. Мне было стыдно перед товарищами, но все-таки в конце концов пришлось остановить «виллис» и вылезти. У меня начались какие-то спазмы в горле и пищевode, стало рвать слюной, горечью, желчью. Не знаю отчего. Наверное, от нервной разрядки, которая выразилась таким нелепым образом. Все эти четыре года войны в разных обстоятельствах я очень старался быть сдержанным человеком и, кажется, действительно был им. А здесь в момент, когда вдруг понял, что война кончилась, что-то стряслось — нервы сдали. Товарищи не смеялись, не подшучивали, молчали, почувствовали мое состояние.

В штабе фронта член Военного Совета Телегин сказал нам, что немцы на западе, в штабе союзников, ~~сегодня заявили о капитуляции и предварительно~~ подписали ее. А окончательное подписание акта безоговорочной капитуляции состоится завтра в Берлине, в Карлсхорсте, в здании инженерной школы. Нас вызвали, чтобы мы подготовились к завтрашнему дню.

Темпельхоф. Утро. Еще никто не прилетел, аэродром пуст. Только в центре его толстый маленький полковник репетирует с почетным караулом перед встречей с союзниками. Репетирует долго, раз за разом — за время войны отвыкли от всех этих вещей. Мы валяемся на траве и скучаем. Наконец приезжает заместитель командующего фронтом Соколовский с несколькими генералами. Один из них знакомый. Вспоминаем с ним, как встретились в Италии. Тогда бои шли еще в районе Флоренции. Сейчас кажется, что все это было очень давно.

Садится первый самолет. Из него вылезает Вышинский с несколькими нашими дипломатами, они сразу же садятся в машину и уезжают... Через полтора часа еще один «дуглас». Вчера ждали, что прилетит Эйзенхауэр. И только здесь, на аэродроме, увидев, что встречать приехал не Жуков, а Соколовский, поняли, что прилетит не Эйзенхауэр, а кто-то другой. Прилетели английский главный маршал авиации Теддер и командующий американской авиацией дальнего действия Спаатс. Спаатс — среднего роста, упитанный, квадратный. Теддер — худощавый, моложавый, неопределенных лет, легкий, подвижный, часто и чуть-чуть насильственно улыбающийся. Обменялись приветствиями с Соколовским; солдаты взяли «на караул», оркестр сыграл три гимна, союзники и Соколовский пошли вдоль караула.

В это время опустился еще один «дуглас», из него вылезли немцы — Кейтель, адмирал Фридебург и авиационный генерал Штумпф. Вслед за ними несколько немецких офицеров. Почетный караул, встречавший союзников, оказался как раз посередине между самолетом, привезшим немцев, и скопищем стоявших на краю аэродрома машин, к которым немцам нужно было идти. Едва немцы вылезли из самолета, к ним подошло несколько наших, и пока союзники обходили караул, немцев повели другой стороной в обратном направлении. Первым шел Кейтель в длинном плаще, в большой, высокой генеральской фуражке с выгнутой тульей. Он шел, подчеркнуто не глядя по сторонам, крупным, размашистым шагом.

Едем вслед за немцами по Берлину. Глядя на мелькающие мимо развалины Берлина, на одинокие фигуры жителей, думаю о том, что трудно представить себе более тягостное зрелище, чем то, которое встречает здесь едущих подписывать капитуляцию немецких генералов.

Карлсхорст. Заранее осматриваем актовый зал инженерной школы, в котором будет происходить подписание. Зал небольшой — двести квадратных метров. Вдоль узкой стороны его на стене флаги — наш, американский, английский и французский. Командующий французской армией Делатр де Тассиньи, говорят, тоже прилетел или прилетает. Под флагами длинный, почти во всю длину стены, стол, за которым будут сидеть представители союзного командования. Перпендикулярно ему еще три стола,

два длинных и один короткий, ближе к выходу. Короткий стол — для немецкой делегации, средний стол — для наших и союзных генералов и офицеров, которые будут присутствовать при капитуляции; третий, дальний, стол — для нашего брата корреспондента.

Топчемся в инженерной школе и вокруг нее почти целый час. Говорят, дело задерживается из-за того, что наши и союзники все еще договариваются по каким-то процедурным вопросам. Наверно, так оно и есть, потому что капитуляция, первоначально намеченная на два часа дня, начинается только вечером. Наконец в зал входят представители союзного командования — Жуков, Телегин и вместе с ними Вышинский, Теддер, Спаатс и Делатр де Тассиньи, которого вижу сейчас впервые. Это молодцеватый генерал, вряд ли старше сорока пяти лет.

Корреспонденты и военные, которым предстоит присутствовать при капитуляции, бросаются занимать места, которых никто до них не занял. К ним подскакивает один из офицеров-распорядителей и что-то поспешно шепчет им. Наши генералы, севшие за стол, предназначенный для капитулирующих немцев, вскакивают из-за него как ужаленные и пересаживаются за другие столы.

Жуков улыбается. Теддер улыбается. Делатр де Тассиньи улыбается. Немножко поулыбавшись друг другу и неулыбающемуся Спаатсу, они рассаживаются на места за своим столом. Безумствуют фотографии ~~и кинооператоры. Всканивают на столы, навешиваются животами на плечи генералам и снимают, снимают...~~

Один из наших кинооператоров длинной ручкой своего аппарата задевает по голове какого-то американского адмирала. Адмирал, очевидно, привычный к суете корреспондентов, добродушно улыбается и машет рукой: «О'кей!» Но наши непривычные к этому распорядители чуть было не выволакивают беднягу оператора из зала.

Сидящие за центральным столом выглядят очень по-разному. Спаатс не выражает на своем лице ничего. Вышинский суетится. Жуков сияет. Сидящий рядом с ним Теддер с его приятной, но невыразительной внешностью, слегка улыбаясь, что-то говорит через переводчика Жукову, и мне почему-то кажется, что в этом человеке, единственном из всех, сохра-

няется какая-то доля иронии по отношению к предстоящей торжественной процедуре. У Делатра де Тассиньи вид человека, приехавшего позже других, озабоченного этим и спешащего войти в курс дела.

Смотрю на Жукова, на его красивое, сильное, тяжелое лицо и вспоминаю встречи с ним во время боев с японцами на Халхин-Голе, когда он был еще командиром и командовал там, в Монголии, нашей армейской группой. В последний раз я его тогда видел уже после разгрома японцев в его жарко натопленном блиндаже. Он только что вернулся из бани и, отдыхая, сидел по-домашнему. Мне запомнилось, с каким насмешливым спокойствием слушал он тогда одного из своих разведчиков, срочно просившего приема и докладывавшего о новом и опасном, по его мнению, сосредоточении крупных японских частей. По виду Жукова можно было понять, что он ни на грош не верит этому докладу, считает, что японцы сейчас, сразу после такого разгрома, ничего не предпримут, а разведчики просто перестраховываются. Это он и сказал, дослушав доклад. Сказал холодно, резко, бесповоротно. С тех пор за шесть лет я его ни разу не видел. Могло ли мне тогда хотя бы на минуту прийти в голову, что в следующий раз я увижу его в Берлине, принимающим капитуляцию германской армии...

Когда в зале успокаивается жужжание, Жуков встает и объявляет о начале заседания для принятия капитуляции германской армии. Потом говорится о полномочиях, кто каким правительством уполномочен, и читаются документы на разных языках. На все это уходит минут десять.

Жуков снова встает и, обратившись к стоящим у входных дверей офицерам, сухо говорит:

— Введите германскую делегацию.

Двери распахиваются, и в них входят Кейтель, Фридебург и Штумпф, за ними несколько офицеров, видимо, адъютанты. Для того чтобы дойти до своего стола, Кейтелю надо сделать только три шага. Он делает их, останавливается за средним креслом и, вытянув руку с коротким фельдмаршальским жезлом, делает им быстрое движение вперед и назад, почему-то напоминающее мне гимнастику с гантелями. Отодвинув кресло, садится и кладет жезл перед собой. Фридебург и Штумпф тоже садятся. Их адъютанты стоят сзади. Жуков встает и что-то говорит, не слышно что.

Это переводят немцам. Кейтель утвердительно наклоняет голову.

Затем продолжают разные подробности процедуры.

Я слежу за Кейтелем. Он сидит, положив перед собой на стол руки в перчатках. Штумпф кажется совершенно спокойным, Фридебург застыл в неподвижности, но в самой этой неподвижности чувствуется беспредельная угнетенность.

Кейтель тоже сначала сидит неподвижно, глядя перед собой, потом чуть повертывает голову и внимательно смотрит на Жукова. Снова смотрит в стол перед собой и снова на Жукова. И так несколько раз подряд. И хотя это слово, казалось бы, предельно не подходит к происходящему, но я все-таки вижу, что он смотрит на Жукова с любопытством. Именно на Жукова и именно с любопытством. Как будто он увидел человека, который его давно интересовал, и сейчас сидит всего в десяти шагах от него.

За центральным столом начинают подписывать документ. Подписывают Жуков, Теддер, Спаатс, последним Делатр де Тассиньи.

Пока они подписывают документ, лицо Кейтеля становится страшным. В ожидании секунды, когда придет очередь подписывать ему, он сидит прямо и неподвижно. Высокий офицер, стоящий за его креслом по стойке «смирно», плачет, не двигая при этом ни одним мускулом лица. Кейтель продолжает сидеть прямо, потом вытягивает перед собой на столе руки и сжимает кулаки. А голову все больше и больше закидывает назад, так, словно хочет закатить обратно под веки готовые вывалиться оттуда слезы.

В это мгновение Жуков встает и говорит:

— Германской делегации предлагается подписать акт безоговорочной капитуляции.

Переводчик переводит это по-немецки, и Кейтель где-то уже в середине перевода, поняв смысл его слов, делает короткое движение по столу к себе, выражая этим согласие на то, чтоб им дали сюда, на этот стол, акт для подписания. Но Жуков, продолжая стоять, коротким движением протягивает в сторону немцев руку и, поведя ею от них по направлению к столу, за которым сидят союзники, говорит жестко:

— Пусть подойдут подписать сюда.

Первым встает Кейтель. Он подходит к узкому концу стола, садится в стоящее там пустое кресло и

подписывает несколько экземпляров акта. Потом встает, возвращается к своему столу и садится в прежней позе. Подписывая, он снял перчатку. Сейчас он снова натягивает ее на руку.

Вслед за ним идут подписывать Штумпф и Фридебург. Пока все это происходит, я продолжаю смотреть на Кейтеля. Он сидит вполборота к столу, за которым сидят союзники, смотрит на них и о чем-то думает так упорно и напряженно, что, очевидно, незаметно для себя, подняв со стола правую руку в перчатке, берет ею себя за лицо, за тяжело отвисшие щеки и подбородок и мнет, мнет, почти комкает лицо рукой в перчатке.

Последний из трех немцев подписывает акт и возвращается на место.

Жуков встает и говорит:

— Германская делегация может покинуть зал.

Немцы встают. Кейтель делает жезлом такое же движение, которое сделал, когда вошел, поворачивается и выходит. Остальные выходят следом за ним. Двери закрываются.

И вдруг все накопившееся в зале напряжение исчезает. Исчезает так, словно все надолго задержали воздух в груди и разом выпустили его. Общий облегченный, расслабленный выдох.

Капитуляция подписана. Война кончилась.

Десятого мая вечером едем через Судеты на Прагу. Уже знаем, что она освобождена, уже знаем, что в нее самыми первыми прорвались танкисты Первого Украинского фронта и что все это произошло еще вчера утром. Но как ни спешим туда, в Прагу, по дороге довольно надолго останавливаемся перед каким-то разрушенным мостом, где из-за этого надо сворачивать с шоссе и делать трехкилометровый объезд лесом.

Перед мостом еще до нас скопился десяток легковых машин, и никто не едет в объезд, потому что недавно там проехала какая-то машина и по ней выстрелили и кого-то не то убили, не то рапили бродящие по лесу и еще не знающие о капитуляции немцы.

Война кончилась, и никому не хочется рисковать, хотя еще два-три дня назад никто из толпящихся здесь у моста офицеров или шоферов даже и не поду-

мал бы считаться с таким ерундовым риском. Мы тоже топчемся, как и все, у моста в ожидании какого-то бронетранспортера, который откуда-то вызвали. Потом мой спутник, вдруг озлившись на это ожидание, на себя, на меня и на все на свете, говорит мне:

— Не будем ждать, поедем.

Я жмусь и ничего не могу с собой поделать. Мысль об этих чертовых немцах, которые могут сейчас, после войны, стрельнуть по мне оттуда, из леса, угнетает меня. Мой спутник кипит, и мое положение в конце концов становится стыдным. Мы садимся в машину и выезжаем на эту лесную дорогу. Другие машины сейчас же вытягиваются в колонну вслед за нами. Я понимаю, что, если бы не мы, то кто-то другой все равно, озлившись, сделал бы это через пять минут и мы бы поехали вслед за ними, как они сейчас едут за нами, но мне не легче от этой мысли, потому что я все равно боюсь.

Въезжаем в лес. В лесу тихо, и мы, не выдержав напряжения, сами начинаем стрелять по лесу из автоматов из несущейся полным ходом машины. Проскочив лес, мы так и не можем дать себе отчета, стреляли там, в лесу, немцы или нет. Мы слышали только собственную отчаянную, испуганную трескотню автоматов. Нам стыдно друг друга, и мы молчим. Мы уже не можем вернуться к тому состоянию войны, в котором, конечно, боясь смерти, в то же время самую возможность ее мы считали естественной и даже подразумеваемой. И мы еще не можем без чувства стыда перед самим собой вернуться к тому естественному человеческому состоянию, в котором сама возможность насильственной смерти кажется чем-то неестественным и ужасным...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вот и подготовлена к печати эта документальная книга — плод и тогдашнего и нынешнего моего труда.

И все-таки хочется сказать что-то еще; не в конце ее — конец ее уже написан и точка поставлена, — а после конца.

Но то чувство, которое владеет мною сейчас, настолько сродни одному, не моему и с недостижимой для меня силой написанному стихотворению, что на последней странице своей книги я хочу поставить вот эти принадлежащие Твардовскому строки:

*В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна,
Особая для наших душ минута.*

*В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.*

*До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный.*

*Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока,
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалеку.*

*И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали...*

1945—1972

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	3
Глава первая. <i>Записная книжка за 10.3.45</i>	10
Между главами	38
Глава вторая. <i>Записная книжка за 12.3.45</i>	40
Между главами	62
Глава третья. <i>Записная книжка за 14.3.45</i>	64
Между главами	82
Глава четвертая. <i>Записная книжка за 16.3.45</i>	85
Глава пятая. <i>Записная книжка за 17.3.45</i>	92
Между главами	98
Глава шестая. <i>Записная книжка за 24.3.45</i>	103
Глава седьмая. <i>Записная книжка за 26.3.45</i>	131
Между главами	150
Глава восьмая. <i>Записная книжка за 27.3.45</i>	151
Между главами	156
Глава девятая. <i>Записная книжка за 28.3.45</i>	157
Между главами	166
Глава десятая. <i>Записная книжка за 29.3.45</i>	170
Между главами	186
Глава одиннадцатая. <i>Записная книжка за 31.3.45</i>	190
Между главами	198
Глава двенадцатая. <i>Записная книжка за 1 и 2.4.45</i>	199
Между главами	207
Глава тринадцатая. <i>Дневниковые записи за 30.4—10.5.45</i>	210
Послесловие	227

Константин Михайлович Симонов

НЕЗАДОЛГО ДО ТИШИНЫ

Художник Вл. МЕДВЕДЕВ

Редактор *А. Г. Перепелицкая*
Художественный редактор *Э. А. Розен*
Технический редактор *Л. С. Мезенцева*
Корректоры *Л. В. Конкина*
и *Л. М. Логунова*

Сд. в наб. 22/X—73 г. Подп. к печ.
21/II—74 г. Форм. бум. 84×100¹/₃₂. Физ.
п. л. 7,25. Усл. п. л. 12,18. Уч.-изд.
л. 12,32. Изд. инд. ХД-385. А05639.
Тираж 100 000 экз. Цена 50 коп. Бум. № 2.
Заказ № 2899.

Издательство «Советская Россия»
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

С37 **Симонов К. М.** Незадолго до тишины. М., «Сов. Россия», 1974.

232 с.

В основу этой книги легли записи из старых фронтовых блокнотов писателя К. М. Симонова, которые относятся к трем последним месяцам войны (март, апрель, май 1945 года).

К. М. Симонов рассказывает о наступлении Четвертого Украинского фронта на Моравску Оставу, о поездках в освобожденную от фашистов Силезию, о встречах с А. А. Гречко, А. А. Епишевым, И. Е. Петровым, К. С. Москаленко и другими видными военачальниками, солдатами и офицерами.

Завершает книгу глава о падении Берлина и подписании акта о капитуляции фашистской Германии.

«Хочу подчеркнуть,— замечает автор,— что все это — не мемуары профессионального военного, а всего-навсего записки еще не дожившего до тридцати лет человека, видевшего войну глазами начинающего писателя».

С $\frac{11202-081}{M-105(03)74}$ 72—74

P2 + 9(C)27

Издательство «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Готовится к печати книга

Мы — военные. 18 л., цена 1 руб.

Книга посвящена современной Советской Армии, ее живой связи с народом. В нее включены очерки и документальные рассказы о подвигах воинов сухопутных войск, авиации, флота, ракетных войск стратегического назначения. В качестве авторов выступают известные писатели, посвятившие свое творчество военно-патриотической тематике,— Н. Горбачев, Г. Семенихин, С. Наумов, В. Устьянцев, А. Беляев и другие, а также молодые литераторы, служащие в Советской Армии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания прислать по адресу: Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия».

50 коп.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»